



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР-МАРТЕН-МАНСУР

ЧАСТЬ IV · ДОГОВОР

ИЛЬЯ КАЛИНИН

18+

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур.
Часть IV. Договор

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор-Мартен-Мансур. Часть IV. Договор / И. Калинин —
«Автор», 2026

Восемь тысяч динаров в ящиках с финиками и долг, который держит другой. Виктор Скорев возвращается в Азмар — туда, где когда-то сошёл на берег бледным чужаком и служил переводчиком за медь. Его шесть тысяч, марка Малика и сеть менял от Азмара до Хинда принадлежат купцу Хакиму, который умеет ждать двадцать лет. Хаким предлагает то же, что когда-то предлагал покойный Джафар: весь дом — сорок кораблей, караваны и мост между морем и пустыней, который Виктор сам когда-то построил. Взамен — свобода. Служи мне, и твои деньги снова твои. Виктор говорит «да» — и начинает разбирать дом изнутри. Паи для вдов и грузчиков, общий котёл для кораблей, серебро франков, скупленные долги. Деньги идут десятками тысяч, трупы — десятками. А когда великий купец умирает, город узнаёт, что мёртвые в Азмаре умеют ждать не хуже живых. Невидимым можно стать только мёртвым. Вопрос в том, кто из двоих умрёт по-настоящему. Четвёртая книга цикла «Виктор-Мартен-Мансур».

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ветер на запад	5
Глава 2. Тот же причал	11
Глава 3. Чай с кардамоном	17
Глава 4. Старые лица	22
Глава 5. Иск	28
Глава 6. Да	33
Глава 7. Мост	39
Глава 8. Финики	45
Глава 9. Паи	50
Глава 10. Наила	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур. Часть IV. Договор

Глава 1. Ветер на запад

На корабле Девидаса меня звали Каримом. За неделю я привык к этому имени лучше, чем к качке.

Корабль был сурской постройки, большой и медленный. Тридцать два метра от носа до кормы, две мачты, высокая корма, расписанная синим и красным. Доски обшивки здесь не сколачивали гвоздями, а сшивали кокосовой верёвкой, и в шторм корабль не ломался, а гнулся, как корзина. Корзина, впрочем, тоже пропускает воду. Каждое утро двое матросов спускались в трюм с кожаными вёдрами и черпали. Двести вёдер в спокойный день. Четыреста — после волны.

Команды было тридцать четыре человека. Матросы из Хинда и с нашего берега, повар, два мальчика и нахуда Шакир — маленький, кривоногий, с голосом, которым он перекрывал ветер, не повышая его. Пассажиров восемь: купцы с перцем, паломник с сыном, писец, который вёз в Азмар чужие письма. Девидас. И я.

Девидас плыл со своим товаром до Азмара и дальше, за пролив. Перец, ткани, индиго. Индиго лежало в кормовом трюме, в тюках, обшитых кожей, — самое дорогое, что было на корабле, если не считать моих фиников. Финики стояли там же, у самой кормы. Два ящика из неструганных досок, перевязанные верёвкой, между тюками индиго и бортом.

Под финиками было семь с половиной тысяч золотом. Пятнадцать кожаных мешков: четырнадцать по пятьсот и два половинных, по двести пятьдесят. Один мешок я разрезал ещё в Сурате, чтобы в каждом ящике лежало ровно поровну. Поровну — значит, если пропадёт один ящик, пропадёт половина. Не больше.

Моя каюта была ящиком побольше. Два метра на полтора, под кормовой палубой, с дверью на кожаном ремне вместо петель. Из двери было видно люк в кормовой трюм. Три шага. Ради этих трёх шагов я и выбирал место, и заплатил за него двадцать динаров, не торгуясь.

* * *

Утро начиналось одинаково. Пятьдесят отжиманий на палубе, между спящими матросами. Потом приседания с пустым бочонком для воды в руках, килограммов на двенадцать. Матросы сначала смеялись. Потом привыкли, как привыкают к петуху.

Петухов, кстати, было два. И одиннадцать кур в плетёной клетке у кормы, под навесом повара. Куры неслись для нахуды и для Девидаса. На третий день я договорился с поваром: два яйца в день, дирхам за оба. На берегу за дирхам дают десяток. Повар это знал, и я знал. Яйцо в море стоит, как курица на суше, потому что в море нет второго повара.

Ещё был сушёный тунец, твёрдый, как подошва, рис, чечевица и финики. Финики я ел чужие, из мешка повара. Свои было есть нельзя. Человек, который везёт два ящика фиников и не ест их, выглядит странно. Человек, который ест чужие, выглядит скупым. Скупой пассажир не интересен никому.

По вечерам Девидас сидел на корме, на ковре, с медным кувшином молока. Мяса и рыбы он не ел. Иногда звал меня. Мы говорили о перце, о ветре, о ценах в Азмаре. О Хакиме мы говорили один раз.

— Его корабль ушёл неделей раньше, — сказал Девидас. — С синей кормой. Он ходит быстрее нас.

— Ты торгуешь с ним?

— В Азмаре все торгуют с ним. — Он отпил молока. — Я плачу ему за место у его пристани. Двадцать лет плачу. Другой пристани для высоких кораблей в Азмаре нет.

Я запомнил это, как запоминают цену. Человек, который везёт мои ящики, двадцать лет платит человеку, который держит мои деньги.

* * *

На двенадцатый день пришёл шквал.

Он пришёл с юга, ночью, без предупреждения. Только что над мачтами стояли звёзды — и вдруг их не стало, а ветер ударил в паруса так, что корабль лёг на правый борт. Нахуда закричал, не повышая голоса. Матросы полезли на реи. Паломник молился вслух, его сын плакал. Я держался за ремень двери и считал. Крен — секунд пять. Обратно — шесть. Волна била в борт раз в девять-десять секунд, и после каждой с палубы стекала вода.

Через час всё кончилось. Звёзды вернулись. Корабль шёл дальше, как будто ничего не было, только в трюме вода стояла выше колена, и утром черпали до полудня.

Кормовой трюм открыли на рассвете. Я стоял у люка, как пассажир, которому положено беспокоиться за свой груз. Внизу, в сером свете, лежало то, что сделал шквал. Тюки индиго сползли к правому борту. Один мой ящик лежал на боку. Верхние доски треснули, и финики рассыпались по мокрому настилу, тёмные, блестящие, как жуки.

— Финики, — сказал Девидас, встав рядом. — Жаль.

— Жаль, — сказал я.

Вниз спустились трое матросов. Они переложили тюки, подняли мой ящик, собрали финики горстями и забили крышку новыми гвоздями. Работали быстро, перекрикиваясь. Один, молодой, с тонкими руками, собирал финики дольше других. Я видел его спину. Потом он выпрямился, поднял голову к люку и посмотрел на меня.

Это длилось секунду. Матрос посмотрел на пассажира. Ничего особенного. Только смотрел он не так, как смотрят на пассажира. Так смотрит человек, который узнал о тебе что-то, чего не знают другие. В прошлой жизни я двадцать лет видел этот взгляд на переговорах: у того, кто прочитал чужую записку на столе.

Его звали Гулям. Это я узнал у повара за лишнее яйцо. Двадцать два года, с нашего берега, второй рейс у Девидаса. Должен нахуде семь дирхамов за прошлый рейс: проиграл в кости.

* * *

Днём, когда команда спала после черпания, я спустился в трюм.

Это было в порядке вещей. Пассажир смотрит свой груз после шквала, все так делают. Лестницей в кормовой трюм служило бревно с зарубками. С моей ногой спуск занял почти минуту. Внизу пахло мокрым деревом, перцем и тухлой водой. Свет падал из люка квадратом. Под настилом при каждом крене плескалась вода, и сквозь щели в досках было слышно, как она ходит от борта к борту.

Я сел на корточки у ящика, будто проверяю, не подмокли ли финики. Сунул руку под финики, вдоль доски, на дно. Мешки лежали, как я их положил. Семь и половинный. Половинный был сверху, справа. Я нащупал его и понял сразу, ещё не считая.

Кожа на боку была разрезана. Ровно, ножом, на пять сантиметров. Края стянуты и зашиты ниткой — аккуратно, как матросы зашивают парус.

Я вынул мешок, отвернулся к борту, чтобы из люка не было видно рук, и пересчитал на ощупь. По десять. Пальцы помнили вес монеты лучше, чем глаза. Двадцать одна десятка и одна монета.

Двести одиннадцать.

Тридцать девять золотых ушли.

Я положил мешок на место, засыпал финиками и поднялся по бревну. Наверху было тридцать градусов и солнце. Гулям спал под навесом у мачты, накрыв лицо тряпкой.

* * *

Вечером я сел на корме и стал считать.

Тридцать четыре человека команды. Двадцать два дня до Азмара, если ветер не изменится. Семь тысяч четыреста шестьдесят один золотой в двух ящиках. И один человек, который знает.

Пока — один.

Тридцать девять золотых — это больше, чем Гулям заработал бы за пять лет на палубе. Человек, который нашёл такое, не может держать это в себе долго. Тайна давит изнутри, как вода на шов. Он расскажет. Не нахуде — другу, с которым делит навес. Или проиграет монету в кости, и тот, кто выиграет у матроса золотой, спросит откуда. Или вернётся ночью за остальным, потому что тридцать девять — это мало, когда знаешь, сколько осталось.

Вариантов у меня было три. Четвёртый я пока не думал.

Сказать Девидасу. Девидас скажет нахуде. Нахуда выпорот Гуляма у мачты при всей команде, и вечером тридцать четыре человека будут знать, что в финиках у хромого золото. Двадцать два дня в море с тридцатью четырьмя людьми, которые знают, — это не плавание. Это очередь.

Заплатить Гуляму. Тридцать девять — его, и ещё сорок за молчание. Человек, которому один раз заплатили за тайну, понимает, что тайна стоит денег. Через неделю он придёт снова. А в Азмаре сойдёт на берег с восемью десятками золотых в поясе, и первый же меняла на пристани спросит, откуда у матроса азмарская чеканка.

Ничего не делать. Он вернётся. Это я знал так же точно, как знал, что шов течёт.

Четвёртый вариант я додумал, когда над кормой встала луна.

* * *

Гулям пошёл вниз на вторую ночь.

Я не спал. Я лежал в своём ящике под кормой, дверь на ремне была приоткрыта на ладонь, и в щель был виден люк. Луна ушла за парус. Вахтенный сидел у руля и клевал носом. Нахуда храпел под навесом. Ветер был ровный, с северо-востока, и корабль переваливался с борта на борт медленно, раз в восемь-девять секунд, как человек, который устал идти.

Гулям прошёл босиком, без звука. В руке у него была маленькая глиняная лампа, прикрытая ладонью. Он сдвинул крышку люка, сел на край и пропал.

Я выждал сто ударов сердца. Потом встал.

Хромой человек не может красться. Он может только идти медленно. Я шёл медленно. Три шага до люка заняли полминуты. Внизу горел маленький жёлтый огонь — но не у моих ящиков, а дальше, у самой кормы.

Я сел на край люка и спустился по бревну. Левую ногу ставил на зарубку первой, правой держал вес. Скрип бревна тонул в скрипе всего корабля: сшитый кокосовой верёвкой, он скрипел каждой доской, как старая плетёная корзина.

У кормы, там, где сходились доски днища, в настиле был квадратный проём. Колодец для черпаков. Туда стекала вода со всего корабля, и оттуда её каждое утро поднимали вёдрами. Проём закрывался щитом на деревянных полозьях. Щит был отодвинут.

Лампа стояла на ребре шпангоута, внутри колодца. Гулям был под настилом. Колодец уходил вниз на метр с небольшим, до самого киля, шириной в два локтя. Гулям стоял в нём на коленях, спиной ко мне, по пояс в чёрной воде, и шарил рукой у дна, вдоль шпангоута. Прятал. Или проверял, на месте ли. Под водой, в щели между шпангоутом и обшивкой, его тридцать девять не нашёл бы никто. Черпальщики каждое утро поднимали бы воду вёдрами над его золотом и ничего не замечали. Хорошее место. Я бы сам так сделал, если бы был матросом.

Вода в колодце стояла выше его колен. От днища — сантиметров шестьдесят. Над водой, до настила, оставалось меньше полуметра.

Я взялся за край щита и задвинул его.

Полозья были мокрыми. Щит прошёл легко, почти без звука, и встал в паз. Под ним плеснуло. Лампа упала в воду: жёлтая полоска в щели погасла.

Снизу ударили в щит. Ладонью, потом кулаком. Щит дрогнул. Я лёг на него грудью.

Семьдесят килограммов. Мало. Гулям стоял на коленях и упирался спиной, а спина у матроса, который год таскает ведра, сильнее моих рук. Щит приподнялся на палец. Я протянул руку назад, нащупал в темноте угол ближнего ящика — моего ящика, сорок с лишним килограммов, — и потянул на себя по мокрому настилу. Ящик проехал полметра. Ещё полметра. Я перевалил его на край щита, и щит лёг в паз до конца.

Корабль накренился на правый борт. Вода под настилом пошла к правому борту — я слышал, как она идёт, тяжело, всей массой. Колодец был у середины, но и там она поднялась к доскам. Потом корабль пошёл обратно, и вода пошла обратно.

Стук был частым. Потом реже.

Я сидел на ящике и считал крены. Не секунды — секунды в темноте врут. Крены не врут. Корабль клал с борта на борт раз в восемь-девять секунд, ровно, как маятник.

На двадцатом крене стук стал другим. Не кулаком — ногтями.

На тридцать пятом его не было.

Я досидел до шестидесятого. Девять минут. Потом слез, отодвинул ящик на место, к тюкам индиго, и отодвинул щит.

Внизу было черно и тихо. Вода ходила от борта к борту, плескала о шпангоуты. Я лёг на настил и опустил руку в колодец по плечо. Вода была тёплой. Пальцы нашли сначала волосы. Потом плечо. Я повёл руку дальше, вниз, вдоль шпангоута, к обшивке, туда, где он шарил. Щель. В щели — тряпичный узел, туго завязанный, мокрый и тяжёлый.

Узел я вынул. Щит оставил открытым. Лампу — в воде, где она упала.

Наверху вахтенный спал у руля. Луна вышла из-за паруса. Я дошёл до своей двери за полминуты и лёг. Ремень на двери скрипнул.

В узле было тридцать девять. Я пересчитал их на ощупь, по десять, и положил в пояс.

Счёт, который я сжёг над лампой в Сурате, начинался заново. Первая строка. Гулям, матрос. Трюм, задвижка, вода.

* * *

Утром его нашли черпальщики.

Они спустились в кормовой трюм с ведрами, как каждое утро, и один закричал. Потом второй. Потом прибежал нахуда, за ним Девидас, за ним полкорабля. Я вышел из двери последним, как человек, которого разбудили.

Гуляма подняли на палубу и положили у борта, на мешковину. Мокрый, белый, с ободранными пальцами. Под ногтями — дерево. Нахуда смотрел на него долго. Потом спустился в трюм сам. Вернулся с лампой в руке, глиняной, маленькой, полной морской воды.

— Ходил ночью в трюм, — сказал нахуда. — С огнём. Колодец открыт. Упал в трюм, ударился, захлебнулся.

— Зачем ходил? — спросил кто-то.

Нахуда посмотрел на люк, потом на Девидаса.

— Вор, — сказал он. — Или воду смотрел. Какая теперь разница.

Разница была. Но нахуде было удобнее, чтобы её не было. Если вор, значит, нахуда не уследил за своей командой, и купец спросит, что ещё пропало. Если упал, значит, бог. С богом не спорят и убытков на него не пишут.

— Упал в трюм, — повторил Девидас.

Он сказал это мне. Не нахуде, не команде. Мне.

— Упал, — согласился я.

Гуляма зашили в старый парус. В ноги положили камень из балласта, килограммов на десять. Нахуда прочитал над ним молитву — коротко, ровно, тем же голосом, которым коман-

довал. Матросы стояли молча. Паломник молился вместе с нахудой, а его сын смотрел на свёрток во все глаза: наверное, впервые видел, как хоронят в море. Двое подняли свёрток и опустили за борт. Он ушёл в воду ногами вперёд, быстро, без всплеска, как будто его там ждали.

Семь дирхамов долга нахуда вычеркнул из книги тут же, при всех. Мёртвым долги прощают. Живым — нет.

* * *

Вечером Девидас позвал меня на корму.

Мы сидели на ковре. Он пил молоко, я — воду. Звёзды стояли низко, как над Суратом, но уже другие: ветер нёс нас на запад, и небо менялось вместе с морем.

— Колодец для черпаков закрывают на ночь, — сказал Девидас. — Нахуда задвигает щит сам. Вчера он задвинул. Я видел.

Я ничего не сказал.

— А утром щит был открыт, — продолжал Девидас. — Значит, матрос открыл его сам. Зачем матросу ночью в колодец? Там нечего красть. Там только вода.

— Иногда в воде прячут, — сказал я.

Девидас посмотрел на меня поверх кувшина. Тем самым взглядом, каким двадцать лет смотрел на жемчуг: сначала на блеск, потом на форму, потом на то, чего не видно.

— Я говорил тебе в Сурате, — сказал он. — Финики у меня в трюме не пропадают.

— Ты говорил.

— Я не говорил, что не пропадают матросы.

Он допил молоко и поставил кувшин на ковёр.

— За двадцать лет у меня утонуло девять человек, — сказал он. — Одного смыло, двое умерли от лихорадки, один упал с реи. Пятеро упали в трюм. — Он помолчал. — Те пятеро тоже ходили туда ночью. Ни одного из них мне не было жаль.

До самого Азмара он не вернулся к этому разговору.

* * *

Дальше было море.

Двадцать один день. Корабль зашёл в залив за водой, простоял ночь у глиняной пристани с тремя пальмами и пошёл дальше вдоль берега. Берег был жёлтым, плоским, иногда красным, иногда вообще никаким: просто дрожащая полоса на краю воды. Днём тридцать два градуса, ночью двадцать. Вода в бочках зацвела на пятый день, и повар стал кипятить её с чечевицей. Яиц стало меньше: две курицы сдохли. Повар поднял цену до дирхама за яйцо. Я платил.

Каждое утро — пятьдесят отжиманий. Через две недели — пятьдесят пять. Потом руки сказали: шестьдесят. Я поверил рукам.

Каждую ночь я слушал, как вода ходит под настилом. Каждое утро черпальщики поднимали из трюма двести вёдер. Щит колодца нахуда теперь задвигал сам, при всех, и сидел на него, пока затягивал верёвку на полосьях. Ночью в кормовой трюм больше не спускался никто.

О Гуляме не говорили. На корабле о мёртвом говорят один день, потом молчат, потому что море слышит. Так сказал мне повар, когда я спросил, отчего команда вдруг стала тихой. Я не стал спорить с морем.

Мешки я больше не трогал. Тридцать девять золотых лежали в поясе, рядом с моими семьястами. Половинный мешок ждал их в ящике. В Азмаре я сложу их обратно. Порядок важнее суммы. Когда считаешь каждый вечер, сумма должна сходиться без исключений. Иначе однажды не заметишь, что она перестала сходиться совсем.

Три талера я носил в кошель, вместе с половинкой полоски, на которой было написано: шесть тысяч, на имя Мансур, выдать в Азмаре в доме Хакима. По вечерам я доставал талеры и держал их в кулаке. Кошель с ними казался тяжелее, чем пояс с золотом.

Каримом меня звали ещё три недели. Хорошее имя: надёжный, тот, кому доверяют чужое. Я так и не привык откликаться на него с первого раза.

* * *

На исходе третьей недели после той ночи нахуда Шакир вышел утром на нос и долго смотрел вперёд из-под ладони. Потом сказал одно слово. Матросы бросили вёдра и полезли на борт.

Я встал рядом с ними.

Там, где жёлтая полоса берега встречалась с белым небом, стояло что-то белое. Сначала — как пятно на воде. Потом — как ряд зубов. Потом стало видно стены, плоские крыши, башню над крышами, зелёную полосу пальм за стенами, а за пальмами — снова жёлтое, до самого края земли.

Пустыня с одной стороны, море с другой. И белый город между ними.

Азмар.

Когда-то я сошёл здесь на берег бледным чужаком с поясом чужого серебра. Тогда у меня не было ничего. Теперь у меня было семь с половиной тысяч в двух ящиках с финиками и шесть тысяч на полоске бумаги шириной в два пальца.

Человек, который держал эти шесть тысяч, жил в одном из белых домов над гаванью. Он пришёл сюда недель раньше меня. Он знал, что я приду.

И он умел ждать.

Глава 2. Тот же причал

Причал был тот же.

Те же почерневшие сваи, до половины обросшие ракушкой. Тот же настил, звенящий под ногой, только доски поменяли на новые, светлые, привозные. Та же вонь — смола, гнилая рыба, верблюжий навоз и сладкий дух фиников из чужих тюков. Тот же крик носильщиков на языке, из которого в первый раз я не понимал ни слова.

Теперь я понимал каждое. И в первом же услышал цену.

— Два ящика до сука — четыре медяка!

— Шесть, — сказал второй носильщик. — Он хромым. Сам не донесёт.

Я сошёл по сходням последним. Левая нога на мокрых досках слушалась плохо, как всегда. Девидас стоял у борта и смотрел, как его люди выносят тюки индиго. Мы попрощались вчера на корме, без слов: он кивнул, я кивнул. Сегодня он не смотрел в мою сторону. Хороший купец не смотрит на чужой груз при свидетелях.

— Пять, — сказал я носильщикам. — И не бросать.

* * *

У конца причала, под навесом, сидел писец правителя с доской на коленях. Перед ним стояли весы, лежали гири и счётная палочка с зарубками. Налог с каждого тюка. Я помнил этого писца — или его отца, или брата: у всех писцов налога одно лицо.

— Что везёшь?

— Финики. Два ящика. Себе.

Носильщики поставили ящики у его ног, и один глухо стукнул о доски — тяжелее, чем стучат финики. Писец не заметил. Он смотрел не на ящики, а на палочку.

— Финики в Азмар, — сказал он. — Себе. — И сделал на палочке одну зарубку. — Два дирхама.

Я заплатил. Семь с половиной тысяч золотом прошли налог Азмара по цене двух мисок риса с бараниной. Налог в этом городе считали по ящикам, а не по весу. Это стоило запомнить.

Я отошёл в тень склада и посмотрел на гавань.

Когда-то здесь стояли северные пузатые корабли и узкие южные, вперемешку, борт к борту, и у каждого был свой хозяин. Теперь у трёх лучших пристаней стояли корабли с одинаковыми выпелами. Белое полотнище, на нём чёрный круг, в круге весы. Тот самый знак, который я видел на тюках в протоке Джульфа и на половинке полоски, лежавшей сейчас у меня в кошеле. Я насчитал девятнадцать выпелов. Остальные, как мне сказали потом, были в море. Всего сорок.

Носильщик постарше, с седой щетиной, вдруг остановился и посмотрел на меня внимательнее.

— Мансур? — сказал он. — Мансур от Джафара?

— Был.

— Говорили, тебя убили. На западной дороге, в песках. Разбойники.

Слух о моей смерти пришёл в Азмар из Хаджара вместе с караванами. В Хаджаре меня действительно похоронили, и похоронили хорошо. Слух дошёл. Я — тоже, только позже.

— Говорили, — согласился я. — Неси осторожнее. Финики мнутя.

* * *

От пристаней к суку дорога шла мимо белого дома у самой воды.

Два этажа, галерея на столбах, над дверью — весы в круге, вырезанные в камне. У дверей стояли люди. Капитаны в синем и сером, с обветренными лицами. Караванщики в пыльных накидках, с посохами. Один писец за низким столом в тени галереи, перед ним циновки, весы и кувшин с водой.

Это был мой мост.

Я придумал его для Джафара, в крытой галерее у счётной. Низкий стол, свежие циновки, вода для гостя, весы, которые я выверил сам. Капитан с моря и караванщик из песков садились друг напротив друга, и я говорил каждому верную цену. Дом брал долю с выгоды, которой без него не было бы вовсе. Мостом его называл я. Слово ушло в город, как уходит всё, что сказано вслух. Теперь у моста был свой дом и чужой знак.

Я постоял в тени, как стоял когда-то на этом причале в первый день. Привычка: прежде чем продавать на рынке, посмотри, кто тут кому что носит.

Очередь стояла на солнце. Значит, гостю больше не дают тени. Писец взвешивал, не поднимая глаз и не поворачивая весы к гостю. Значит, гость больше не видит стрелку. Двое караванщиков у двери спорили вполголоса, и один показывал другому три пальца, потом два. Значит, цену здесь называют одну, а платят другую.

Мост работал. Но он тёк. Я видел течь отсюда, с тридцати шагов, как видел её в трюме корабля Девидаса — по тому, как плещет под настилом.

Один из караванщиков, сухой старик с лицом, исчерченным пылью так, что не разберёшь, где кожа, а где загар, отошёл от двери и сел в тень рядом со мной, отдуваясь.

— Долго стоишь? — спросил я.

— С утра. — Он положил посох поперёк колен. — Раньше сажали сразу. Воду давали. Цену говорили при тебе и весы к тебе поворачивали. — Он сплюнул в пыль. — Раньше тут сидел северянин. Бледный. Врал меньше, чем родня.

— А теперь?

— Теперь сидит родня. — Старик посмотрел на меня, на мою ногу, на лицо. Прищурился. — Ты на него похож. Только тёмный.

— Солнце, — сказал я.

Это было не моё дело. Я пошёл к суку.

* * *

Лавка Юнуса стояла там же, у поворота. За десять шагов било в нос ладаном, перцем и сушёными корнями. С балки свисали связки стручков. В открытых мешках горами лежали тмин, кардамон, жёлтый корень и что-то багровое, от чего першило в горле.

Юнус сидел среди мешков, как сидел всегда. Он постарел, но не похудел. Есть люди, которых возраст не сушит, а укладывает: щёки ниже, живот ниже, голос ниже. Редкая борода, крашенная хной. Вечно прищуренный левый глаз. Мягкие руки торговца, перебирающие чётки.

Он увидел меня и не встал, а развёл руками, как будто хотел обнять мешок с перцем перед собой.

— Мансур! — сказал он. — Тебя же убили!

— Все так говорят.

— Все врут! — Юнус засмеялся, тряся животом. — Я так и знал. Я говорил: этого не убьют, он слишком хорошо считает. Садись. Мальчик, чашку! Две!

Мальчик принёс чай. Я сел на мешок с тмином. Носильщики поставили ящики у входа и встали рядом, ожидая платы. Юнус посмотрел на ящики.

— Что привёз?

— Финики.

— Финики в Азмар! — Юнус хлопнул себя по колену. — Северянин, ты как был. Возишь песок в пустыню.

— Сурские. Таких здесь нет.

— Сурские, — повторил он, прищурив глаз. — Ну-ну.

Чай был сладкий, с кардамоном. В Азмаре все пили чай с кардамоном. Я отпил и стал слушать. Юнус говорил всегда, и ему никогда не надо было задавать больше одного вопроса.

— Джафар умер через полгода, как ты ушёл, — сказал он. — Второй удар, ночью. Утром нашли. Салих держал дом до весны. Один, старик. Потом пришли двоюродные — Мунир и Талал, сыновья его сестёр. Мунир толстый, Талал тощий, оба жадные одинаково. Растащили за зиму. Склады продали. Корабли Хаким купил за треть цены. Мост — тоже Хаким. — Он покачал головой. — Ты бы видел. За одну зиму. Сорок лет Джафар строил.

— А Салих?

— Выгнали. Живёт у красильщиков, в комнате, где раньше держали квасцы. Бедно живёт.

— Наила?

— Наила торгует. Её не растащишь. — Юнус хмыкнул. — Насир ослеп совсем. Злее стал. Дауд таскает тюки у Хакима на пристани. Всё копит на брата, бедняга. Брат-то уже не в Азмаре.

— Где?

— Продали за пролив. Когда Джафар умер, долг никто не выкупил. Из ямы продают, ты знаешь. — Он отхлебнул чаю. — А правитель поднял налог дважды. С ворот и с пристаней. Теперь у нас всё дорого, кроме слухов.

Он помолчал и посмотрел на меня. Глаз прищурился.

— А ты где был? Говорили — в песках. Потом говорили — жемчуг, Джульфар. Потом — Хинд.

— Говорили много, — сказал я.

— К Хакиму пойдёшь? — спросил он вдруг.

— Зачем мне Хаким?

— Все к нему ходят. — Юнус пожал плечами. — Он про тебя спрашивал. Давно, года два назад. Жив ли, где. Я сказал: откуда мне знать, я торгую перцем.

— Мне нужен дом, Юнус.

— Надолго?

— Посмотрим.

— Один?

— Один.

— Ты и тогда был один. — Он вздохнул. — Есть дом. Шурина моего, покойного, прошлой осенью схоронили. Вдова уехала к сыну, за пальмы. У колодца медников, в двух поворотах отсюда. Две комнаты, кладовая, двор, лестница на крышу. Колодец свой. Два динара в месяц.

— Полтора.

— Два. — Юнус поднял палец. — Вода сладкая. В Азмаре за сладкую воду платят отдельно, ты забыл.

Я не забыл. Я заплатил двенадцать динаров за полгода вперёд. Юнус пересчитал, не глядя, по звуку, как считают менялы, и спрятал монеты за пояс.

— Как прежде, — сказал он. — Платишь вперёд и не торгуешься, когда знаешь цену.

— Я торговался.

— Для вида. — Он засмеялся. — Мальчик проводит. Ключ у мальчика.

Я встал. Юнус протянул мне руку, мягкую и тёплую, и подержал мою чуть дольше, чем нужно.

— Хорошо, что ты вернулся, Мансур, — сказал он. — Азмар без тебя скучал.

* * *

Дом стоял в глухом переулке, у колодца медников. Слышно было, как за стенами стучат молотки по меди: тонко, часто, без перерыва. Дверь из привозного дерева, тяжёлая, на железных петлях. Каменный порог. Двор шагов десять на восемь, утоптанная глина, у стены колодец под деревянной крышкой. Две комнаты с низкими потолками из пальмовых жердей, кладовая с большим кувшином для зерна, вкопанным в пол по плечи. Глиняная лестница на крышу, в одиннадцать ступеней.

Мальчик отдал ключ и ушёл. Носильщики поставили ящики в кладовую, получили свои пять медяков и тоже ушли. Я закрыл дверь на засов.

Был полдень. Сорок один градус, по моим прикидкам. Город спал.

Мне нужно было четыре часа.

* * *

Хозяин знает свой дом. Поэтому тайники я не искал, а делал сам.

Мотыгу и плоскую лопатку я купил по дороге, у медников, за четыре дирхама. Глину брал из-под крышки колодца, где её натоптали за годы, и мешал с песком со двора, чтобы цвет сошёлся.

Первым был колодец.

Он уходил вниз метров на двенадцать, до тёмного круга воды. Стенки были выложены камнем, без раствора, плотно. Я лёг животом на край, свесился внутрь и нащупал камень на длину руки ниже края. Он сидел крепко. Я расшатывал его лопаткой минут двадцать, по миллиметру, пока не вынул. За камнем была сухая земля. Я выкопал нишу на локоть вглубь, положил туда шесть мешков, один за другим, вставил камень обратно и замазал щели глиной. Сверху, с края, ниша выглядела как любой другой камень в кладке. Три тысячи.

Вторым был кувшин в кладовой. Я выбрал из него зерно, старое, с жучками, вытащил кувшин наполовину, раскачивая, и вырыл под ним яму в полметра. Пять мешков. Две с половиной тысячи. Кувшин встал на место, зерно вернулось в кувшин. Жучки — тоже.

Третьей была лестница. Ступени были глиной на деревянной обрешётке. Третья снизу звучала под пяткой глухо: там была пустота. Я снял с неё верхний слой, положил в пустоту три мешка и половинный, тот самый, в который вернул тридцать девять золотых из тряпичного узла. Двести пятьдесят — снова двести пятьдесят. Сумма сошлась. Тысяча семьсот пятьдесят. Ступень я замазал так, что под пяткой она звучала по-прежнему глухо. Если звучит одинаково, никто не станет простукивать.

Четвёртым был порог.

Порог был один камень, длинный, плоский, вытертый посередине ногами. Я поддел его мотыгой, сдвинул на ладонь и вырыл под ним ямку. Положил туда второй половинный мешок. Двести пятьдесят. Потом достал кошель.

Три талера. Стёртые северные монеты с почти исчезнувшей головой. Одна — с косой зарубкой на гурте. Я подержал их на ладони и положил в ямку одну, без зарубки. Поверх мешка.

Два остались в кошеле.

Порог переступаешь каждый день. Утром — уходя, вечером — возвращаясь. Я хотел каждый день переступать то, что никто не может заморозить. В Сурате все мои книги оказались одной книгой. Здесь у меня было четыре ямы, и у каждой был один хозяин. Я.

Я задвинул камень на место и подмёл вокруг него пыль.

Пояс с семьюстами с лишним остался на теле. Семнадцать жемчужин Джафара — в поясе. Финики я пересыпал в большой кувшин у стены кухни. Тёмные, сурские, сладкие. Их хватит до осени. Ящики разломал на доски и сложил у очага. Дерево в Азмаре дороже фиников.

Было четыре часа пополудни. Рубаха на мне была мокрой насквозь. Ладони горели. Левое колено распухло от того, что я час простоял на нём у колодца. Я вылил на себя два ведра колодезной воды. Вода была действительно сладкой. Юнус не соврал.

* * *

Перед закатом я пошёл к дому Джафара.

Дорогу ноги помнили сами. Через сук, мимо мечети, налево, в улицу, где стены выше и пыль чище. Ворота были те же, резные, тёмные. Только резьба потрескалась, а одна створка висела на одной петле и не закрывалась до конца. В щель было видно двор.

Пальма у колодца стояла на месте. Но она умирала: листья сверху ещё зелёные, а снизу висели бурой бахромой, и никто их не срезал. На галерее сушилось бельё. Детские рубашки,

женское покрывало, мешковина. Из счётной — я узнал её дверь, узкую, с медной ручкой, за которую я брался каждое утро — вышла коза. Остановилась на пороге, посмотрела на меня через щель и пошла к колодцу.

Во дворе ругались двое. Мужчина и женщина, громко, о комнате на верхней галерее: чья она, кто в ней будет спать, кто платил за новую дверь. Мужчина был тощий. Талал, решил я. Где-то наверху плакал ребёнок.

Сорок лет Джафар строил этот дом. Его двоюродные съели его за одну зиму, как саранча съедает поле, и даже не наелись. В Москве я видел такое с хорошими компаниями, которые доставались наследникам. Там это называлось выводом активов. Здесь — разделом наследства. Результат был одинаковым: коза в счётной.

Мальчишка лет десяти сидел у ворот снаружи, в пыли, и чертил палочкой.

— Чей это дом? — спросил я.

— Дяди Мунира, — сказал мальчишка, не поднимая головы.

— А говорят — Талала.

— Это Талал говорит. — Мальчишка поднял голову. — Ты кто?

— Прохожий.

Я дал ему медяк. Он взял и вернулся к своей палочке.

Я постоял ещё минуту. Ни жалости, ни злости. Только счёт. Дом без хозяина стоит меньше, чем его стены. Я знал это и тогда, когда уходил от Джафара с пятьюстами в поясе. Поэтому и ушёл.

* * *

Солнце садилось, когда я вернулся.

Медники кончили стучать. Переулок посинел. С башни над мечетью позвали на вечернюю молитву, протяжно, на одной высокой ноте, и весь город на минуту затих, как затихает рынок, когда мимо идёт правитель.

Я умылся у колодца, надел чистую рубаху из сурского льна и сел на порог. На камень, под которым лежали двести пятьдесят золотых и один талер. Камень был тёплым от солнца. Я сидел и смотрел, как синее небо над стеной.

Четыре ямы. Сумма сходилась. Дом у сладкого колодца, оплаченный на полгода. Финики до осени. Ни одного человека в Азмаре, который знал бы, сколько у меня. Впервые за пять недель я позволил себе подумать, что сегодня выплусь.

Шаги в переулке я услышал раньше, чем увидел человека.

Шаги были ровные, неторопливые, без шарканья. Так ходит человек, который никуда не опаздывает, потому что всё, что ему нужно, ждёт его само. Он вышел из-за угла и остановился в трёх шагах от порога.

Не молод и не стар. Чистое неприметное платье цвета дорожной пыли. Аккуратно подстриженная седина в бороде. Глаза без подобострастия и без наглости. Я видел это лицо в Азмаре, в первой жизни на юге, когда он звал меня к своему хозяину в первый раз. Видел в протоке Джульфара. Видел у сходней в Сурате, когда он передал мне бесплатное.

Человек в сером поклонился. Ровно настолько, чтобы не обидеть и не унизиться.

— Мир тебе, Мансур.

— И тебе мир.

— Хозяин ждёт тебя к чаю. После вечерней молитвы.

Я не встал с порога.

— Хозяин знает, где я живу.

— Хозяин знает многое, — сказал человек в сером.

— Я снял этот дом в полдень.

— Хозяин знал, что ты придёшь сегодня, — сказал человек в сером ровно, как говорят о погоде. — Он сказал это три дня назад. Ветер, сказал он, повернул в Сурате на шестой день

после нашего отплытия. Девидас ходит медленно и заходит в залив за водой. Значит, в четверг. — Он помолчал. — Хозяин велел заварить чай с кардамоном на сегодняшний вечер. Сегодня четверг.

Корабль Девидаса показался с башни утром. Ветер мог задержать его на неделю. Шквал мог утопить. Хаким велел заварить чай три дня назад.

А дом у колодца медников я снял четыре часа назад, и человек в сером пришёл к нему, не спросив дороги.

Глава 3. Чай с кардамоном

Человек в сером шёл на шаг впереди и ни разу не обернулся. Он знал, что я иду следом. Хромого не нужно проверять: его слышно.

— Как тебя зовут? — спросил я его спину.

— Хозяин не зовёт меня по имени.

— А как зовёт?

— Никак. Он смотрит, и я иду. — Человек в сером свернул в переулок, не замедляя шага.

— Так дешевле. Имя запоминают.

— Давно служишь?

— Двадцать лет.

— Он платит хорошо?

— Он платит вовремя, — сказал человек в сером. — Это лучше.

Мы прошли через сук, где лавочники уже стягивали полосатые навесы, мимо большой мечети, вверх по улице, где стены становились выше, а пыль под ногами чище. Азмар по вечерам пах остывающим камнем, жареным мясом и морем. Внизу, в гавани, зажигали огни на кораблях. Девятнадцать вымпелов с весами в круге висели неподвижно: ветер с моря кончился вместе с днём.

Дом Хакима стоял в верхнем ряду, окнами на гавань. Белая стена в два человеческих роста. Резные ворота. Привратник, которого я помнил безусым, теперь был с усами и с тем же недоверчивым взглядом. Он посмотрел на меня, на человека в сером, снова на меня и открыл.

Двор был большим. Каменные плиты, две пальмы, галерея на столбах. А посередине, там, где в других домах стоит колодец, был квадратный проём в камне, огороженный низким бортиком. Из проёма тянуло холодом, как из погреба.

Цистерна.

Я остановился на краю. Вниз уходили каменные ступени, широкие, стёртые посередине. Я насчитал двадцать две, дальше начиналась темнота, а в темноте — вода. Чёрная, неподвижная, без единой ряби. Мальчик в белой рубаше спускался по ступеням с медным кувшином. На двенадцатой ступени он стал невидимым.

— Дождевая, — сказал человек в сером, проследив мой взгляд. — Собирают с крыш зимой. Хватает на весь год. В Азмаре колодцы солёные на треть. Эта — сладкая.

В Азмаре вода стоила денег. В пустыне за его стенами вода стоила жизни. Хаким держал свою во дворе, под камнем, на двадцать с лишним ступеней вглубь. Так другие держат золото.

* * *

Из меджлиса навстречу нам вышли трое.

Первый был грузный человек лет пятидесяти, в дорогом, с перстнями на трёх пальцах и с тем выражением лица, какое бывает у людей, которых только что попросили выйти. Второй — молодой, лет двадцати пяти, в высоких сапогах для верховой езды, с плетью за поясом. Третий был писец.

Грузный остановился и посмотрел на меня. Долго, сверху вниз, как смотрят на товар, который не собираются покупать.

— Это он? — спросил он у человека в сером.

Человек в сером не ответил. Грузный хмыкнул и пошёл к воротам. Молодой с плетью задержался на шаг, тоже посмотрел, усмехнулся и пошёл за ним.

— Фуад, — сказал человек в сером, когда они ушли. — Брат покойной жены хозяина. Держит мост. И его сын, Рияд.

Брат покойной жены держит мост. Я запомнил это, как запоминают первую строку в чужом балансе.

* * *

Меджлис был длинной комнатой с низкими подушками вдоль стен. Ковры, медные лампы на цепях, окна на гавань под потолком. Прохладно. Пахло кардамоном и сандалом.

Хаким сидел у дальней стены.

Он почти не изменился с Сурата. Грузный, неторопливый, в светлом, с коротко подстриженной бородой. Глаза оценщика: спокойные, внимательные, без спешки. Сначала смотрят на блеск, потом на форму, потом на то, чего не видно. На правой руке, на безымянном пальце, — перстень. Сердолик, тёмный, почти чёрный, красный по краю. Имя вязью. Лодка под всем словом, до первой буквы.

Малик сидел у него на пальце. Как сидел когда-то у меня на шнурке под рубахой.

За плечом Хакима, у стены, стоял Бишр.

Под два метра, бритая голова, шрам от левой скулы до челюсти. Руки сложены впереди. Он смотрел не на меня, а поверх моей головы, на дверь. Так он смотрел два года на мою дверь — в Хаджаре, в Джульфаре, в Сурате. Теперь он смотрел на дверь Хакима.

Мы не поздоровались. Бишр не здоровался никогда. Я — не здесь.

В Сурате, у мачты уходящего корабля с синей кормой, я видел кого-то высокого, на голову выше матросов, и не разглядел. Теперь разглядел.

— Мир тебе, Мансур, — сказал Хаким и поднялся мне навстречу. Второй раз за всё время, что я его знал. — Садись. Ты устал с дороги.

— И тебе мир.

Я сел напротив. Мальчик внёс поднос: медный чайник, две маленькие чашки без ручек, блюдо с финиками. Налил. Чай был тёмный, горячий, с кардамоном. Я выпил первую чашку. Мальчик налил вторую. Я выпил и её. Хаким смотрел и чуть улыбался.

— Ты стал пить мой чай без страха, — сказал он.

— Я считаю, — сказал я. — Мёртвый я тебе не нужен. Пока.

— Пока, — согласился Хаким. — Это хорошее слово. С ним можно жить долго.

Он взял с блюда финик, надкусил и положил косточку на край подноса.

— На корабле Девидаса, говорят, утонул матрос, — сказал он, будто вспомнил о погоде.

Корабль стоял у причала двенадцать часов. Команда сходила на берег по очереди. Кто-то из тридцати трёх уже успел выпить чаю в харчевне у пристани, и чай этот дошёл до верхнего ряда раньше, чем я.

— Упал в трюм, — сказал я.

— Бывает. — Хаким кивнул. — На море часто падают в трюм. Особенно молодые. Они думают, что в трюме нет ничего, кроме воды.

Он не смотрел на меня, когда говорил это. Он смотрел на косточку.

* * *

Мы помолчали. Хаким не торопился. Он никогда не торопился, и в этом была его сила: человек, которому некуда спешить, всегда приходит вовремя.

— Ты хочешь спросить, откуда я знал день, — сказал он.

— Твой человек объяснил. Ветер, вода, Девидас.

— Это не всё. — Хаким взял финик, повертел в пальцах и положил обратно. — Я знал, что ты сядешь к Девидасу. Он единственный в Сурате, кто возит груз и не спрашивает, что в нём. Я знал, что ты не станешь ждать следующего ветра: казначей султана не любит отказов, а его люди стояли у ворот Гопалдаса. Я знал, что ты не пойдёшь к франкам. Франки — это эмир, только дальше. — Он развёл руками. — Остальное — ветер. Ветер я считаю, как тюки. Тридцать пять дней.

— А дом?

— Азмар тесен, — сказал Хаким.

Больше он о доме не сказал ничего.

— Я пришёл за своими деньгами, — сказал я.

— Нет. — Хаким покачал головой. — За деньгами приходят те, кто уходит. Ты пришёл перезаключить договор. Ты сказал это себе на пристани Сурата, когда сжимал свои талеры. Я видел с корабля, как ты их сжимаешь.

Я ничего не ответил. Талеры лежали в кошелье. Два. Третий — под порогом.

* * *

— Я скажу, что у меня есть, — сказал Хаким. — Ты любишь цифры. Я тоже.

Он не загибал пальцы. Он говорил ровно, как писец читает опись.

— Сорок кораблей. Девятнадцать в гавани, двадцать один в море. Склады в Азмаре, в Джульфаре, в двух портах залива. Мост — твой мост, Мансур. Через него идёт каждый третий тук, который приходит в Азмар с моря, и каждый второй из песков. Хавала от Азмара до Сурата. Дом Малика в Джульфаре и пятьдесят восемь лодок на катках, которые ждут лета. — Он чуть повернул руку, и сердолик блеснул. — Малик без тебя торгует хуже. Мои лоты в Сурате этой зимой взяли по цене береговых. Печать знают. Человека за печатью — нет.

— И ты хочешь человека.

— Я хочу тебя. Во главе моего дома. Как ты был у Джафара. Пока я жив — рядом со мной. Когда умру — вместо меня.

Слово в слово, как в каюте над жёлтой рекой. Хаким не менял предложений. Он менял обстоятельства, пока предложение не становилось единственным.

— У тебя есть сын, — сказал я.

— Есть. Амин. — Хаким помолчал. — Красивый. Ты увидишь. Красивые не держат дом, Мансур. Красивые его тратят. Я двадцать лет строил то, что у меня есть. Я не хочу, чтобы мой сын проел это за одну зиму, как двоюродные Джафара проели его дом. Ты видел сегодня козу в его счётной?

Я видел козу три часа назад. Хаким знал и это.

— Что я получу?

— Твои деньги снова будут твоими, — сказал Хаким. — Шесть тысяч. Они лягут в мою книгу под твоим именем, и ты сможешь брать их, как берёт хозяин. Долю в доме. Долю в прибыли, которую ты сделаешь. Жалованье, какого не платил никто в Азмаре. Дом, повара, лён. — Он чуть улыбнулся. — Тихую жизнь. Ты ведь всегда хотел тихой жизни. Я помню. Ты говорил это Салиху.

— А ты?

— А я буду пить чай и смотреть, как ты работаешь. Мне шестьдесят, Мансур. Я устал считать сам.

— Сколько стоит твой дом?

— Шестьдесят тысяч. — Хаким ответил сразу, как отвечают на вопрос, которого ждали. — Твои шесть — десятая часть. Можешь проверить по книгам.

Я проверил в уме, пока он пил. Сорок кораблей по тысяче двести — сорок восемь тысяч. Склады, пристани, мост — ещё десять или двенадцать. Шестьдесят сходилась. Если считать корабли по цене новых. Корабль после трёх сезонов на этом море стоит две трети, после шести — половину. Хаким считал свой дом, как продавец считает товар на прилавке: по лучшей цене. Я бы дал сорок пять. Это была первая цифра в его предложении, написанная в его пользу. Я её запомнил.

— Брат твоей жены держит мост, — сказал я.

— Держит.

— Как держит?

— Как держат родню, — сказал Хаким. — Крепко и с убытком. — Он поставил чашку. — Родня — это расход, Мансур. Ты умеешь убирать расход. Это будет твоя работа.

— А двоюродные Джафара?

— Говорят, что ты обобрал умирающего старика. Говорят громко. — Хаким пожал плечами. — В Азмаре громкое слово стоит дёшево. Но его слышат все.

* * *

Это было хорошее предложение. Лучшее, какое мне делали в трёх жизнях. И я видел, где в нём дверь, которая закрывается снаружи.

— Хавала, — сказал я. — Слова.

Хаким посмотрел на меня поверх чашки. Тем взглядом, которым смотрел в Сурате, когда я положил перстень на ковёр.

— Слова остаются у меня, — сказал он.

— Печать дома?

— У меня.

— Право отпустить меня?

— У меня. — Он поставил чашку. — Ты хочешь знать, где замок. Я скажу тебе сам, чтобы ты не тратил время на поиски. Дом — тебе. Корабли, склады, мост, люди, книги — тебе. Слова хавалы — мне. Слова — это не дом, Мансур. Слова — это я. Без слов твои шесть тысяч — запись в книге. Со словами — золото в любом порту от Азмара до Сурата. Пока я жив, слова у меня. Это честно. Ты сам говорил: деньги — это договор между людьми. Я держу договор.

— Ты отдаёшь мне корабли и оставляешь себе ветер.

Хаким засмеялся. Тихо, в бороду.

— Хорошо сказано, — сказал он. — Я запомню. Да. Корабли без ветра — это доски. Ветер без кораблей — это воздух. Нам нужны оба.

Я достал из кошельки половинку полоски и положил на ковёр между нами. Плотная бумага, зубчатый край, весы в круге.

— А это?

Хаким не взял её.

— Это твой договор, — сказал он. — Пока ты не скажешь да, он такой, какой есть. Шесть тысяч на имя Мансур, выдать в Азмаре в доме Хакима. Ты в Азмаре. Ты в доме Хакима.

— Выдай.

— Выдам. — Хаким кивнул на человека в сером, который стоял у двери. — Завтра утром он отсчитает тебе шесть тысяч, ровно, золотом. Без десятой части, как брал Шет. Ты возьмёшь их и уйдёшь. И мы больше не будем пить чай.

Он помолчал.

— Тот, кто берёт деньги и уходит, — уходит, Мансур. Совсем. Из моего дома, из моей гавани, из моих книг. Подумай, куда.

Он подвинул полоску ко мне кончиком пальца. Я спрятал её обратно, к талерам.

Я посмотрел на Бишра. Бишр смотрел на дверь.

— Он теперь твой?

— Бишр ничей, — сказал Хаким. — Ты знаешь. Он берёт плату по окончании работы. Сейчас у него работа — стоять у этой стены. Когда она кончится, я заплачу, и он будет стоять у другой.

— У какой?

— У той, за которую заплатят, — сказал Хаким. — Спроси его сам. Он ответит.

Я не спросил. Бишр отвечал только то, что было в договоре. А договор был не мой.

* * *

Мальчик принёс третий чайник. Хаким махнул рукой, и мальчик налил только ему.

— Подумай, — сказал Хаким. — Сколько тебе нужно? Неделю?

— Неделю.

— Бери две. — Он отпил. — Ты скажешь да. Не потому, что я хорош. Потому, что остальное хуже. Ты разложишь всё сегодня ночью, на четыре части, как раскладывал в Хаджаре и в Сурате. Ты всегда раскладываешь на четыре. И три окажутся хуже.

Он знал и это. Откуда — я не спрашивал. Там, где один человек двадцать лет собирает людей от Азмара до Сурата, вопрос откуда не имеет смысла. Имеет смысл другой вопрос: кто из них сидел рядом со мной.

Я встал. Левое колено, распухшее после колодца, хрустнуло. Хаким посмотрел на ногу.

— Хуже, чем в Сурате, — сказал он.

— Хуже.

— Пески и шторм. Мне рассказывали. — Он кивнул, как кивает лекарь. — В доме у меня есть человек, который правит кости. Пришлю, если захочешь.

— Не надо.

— Как хочешь. — Хаким тоже встал, медленно, опираясь на подушку. — Человек в сером проведет тебя.

* * *

Я шёл к двери, и Бишр смотрел поверх моей головы. Когда я поравнялся с ним, он не шевельнулся. От него пахло потом и пылью, как пахло всегда. Шрам был тёмным, почти лиловым.

Два года он сидел у моей двери. Ни разу не спросил, сколько у меня денег. Ни разу не взял вперёд. Сто динаров по окончании — день в день, ровно, ни медяком больше. Он ушёл без прощания, потому что договор был исполнен целиком.

Теперь у него был другой договор. И в нём, я был уверен, тоже было окончание.

Во дворе было темно. У края цистерны горела лампа, и в её свете ступени уходили вниз, в черноту, одна за другой. Мальчик с кувшином поднимался вверх, мокрый до колен. Из цистерны тянуло холодом и старым камнем.

Я думал о том, что он мне предложил. Весь дом. Как предлагал Джафар, умирая. Тогда я отказался. Чужак во главе дома после смерти хозяина — мишень для всех: для родни, для города, для соперников. Я ушёл вовремя, с пятьюстами в поясе, и это было правильно.

Теперь всё было то же. Только хозяин был жив, здоров и не собирался умирать. А моих денег у меня было не пятьсот в поясе, а шесть тысяч в его книге. И уйти вовремя мне было некуда.

Я разложил его предложение так, как разложил бы чужой договор на столе в прошлой жизни. Что мне дают: управление, долю, жалованье, мои же деньги в его книге. Что оставляют себе: слова, печать, право отпустить и человека у стены, который работает по окончании. Мне давали всё, что видно. Себе оставляли всё, на чём видимое держится. В Москве так продавали франшизы: вывеска твоя, рецепт наш. Купить такую можно. Владеть — нет.

И шесть тысяч завтра утром, ровно, без десятой части. Это была не плата. Это был выход, нарисованный на стене. Человек, который возьмёт их и уйдёт, уйдёт один, с золотом, из города, где у Хакима каждая пристань, в море, где у Хакима каждый меняла.

Хаким вышел на галерею проводить меня. Он стоял между столбами, грузный, светлый, с чашкой в руке, как стоял на корме корабля с синей кормой, когда проходил мимо нашей лодки в Сурате.

— Мансур, — сказал он.

Я обернулся.

— Ещё одно. Бесплатно. В договор не входит. — Он отпил из чашки. — С хаджарским караваном на прошлой неделе пришли двое. Спрашивают у меня и у носильщиков про хромого со светлыми глазами, который служил Джафару. Говорят, у них дело от эмира.

Он помолчал. Внизу в гавани плеснула вода.

— Тебя ищут люди эмира, — сказал Хаким. — В Азмаре тебя защищаю только я.

Глава 4. Старые лица

Утром я отжимался на крыше. Шестьдесят, в три подхода. Потом приседал с камнем от разобранного очага, килограммов на пятнадцать, и подтягивался на жерди навеса, пока не задрожали руки. Девять раз. В Сурате было одиннадцать. Пять недель на корабле сняли с меня два подтягивания и добавили пять отжиманий. Тело считало по-своему, но честно.

Внизу, в переулке, медники уже стучали. Над стеной вставало солнце, и через час крыша станет сковородой. Я спустился, умылся у колодца и пошёл на сук за яйцами.

Яйца в Азмаре продавала старуха у восточного входа, из корзины, прикрытой мокрой тряпкой. Медяк за два. Я взял восемь. Четыре съел тут же, сырыми, с солью, под её неодобрительным взглядом. Четыре унёс.

Я не торопился. Мне нужно было посмотреть, кто в этом городе остался от прежней жизни. Не из сентиментальности. Люди — это тоже инвентарь. Перед тем как подписывать договор с Хакимом, надо было знать, что у меня есть, кроме денег в ямах.

* * *

Насир жил там же, в проулке красильщиков. Здесь воняло квасцами и мочой, а с верёвок над головой капала синяя и жёлтая вода. Дверь его каморки была открыта. Внутри сидели трое мальчишек на циновке и хором повторяли слова. Насир сидел перед ними на вытертой подушке, с палкой на коленях.

Оба глаза у него теперь были белыми.

Я остановился на пороге. Мальчишки замолчали и уставились на меня. Насир не повернул головы.

— Хромой, — сказал он. — Левая нога. Тяжелее, чем тогда. — Он пожевал губами. — И медленнее. Богатые ходят медленнее. Им некуда спешить, за них спешат другие.

— Мир тебе, учитель.

— Учитель. — Насир фыркнул. — Мансур. Мне сказали, тебя убили.

— Мне тоже говорили.

— Пошли вон, — сказал Насир мальчишкам, не повышая голоса. — Завтра. И чтоб знали всё, что сегодня не доучили.

Мальчишки вылетели в проулок. Я сел на их место, на тёплую циновку. В каморке пахло, как раньше: чернилами, пылью и старостью. Свитков стало больше. Читать их было уже некому.

— Ты пришёл не учиться, — сказал Насир.

— Нет.

— Тогда зачем? Старики интересны только тем, кто хочет что-то узнать.

— Я хочу знать, что говорит город.

Насир засмеялся. Смех был сухой, как кашель.

— Город говорит много. Я слушаю. Мне больше нечего делать. — Он повернул лицо ко мне, белыми глазами чуть мимо. — Город говорит, что Мансур вернулся с моря богатым. Что он снял дом у Юнуса за два динара. Что вчера вечером его звали к Хакиму. Что от Хакима он ушёл, когда в мечети уже кончили вечернюю молитву, значит, говорили долго. — Насир пожевал губами. — Город говорит, что двоюродные Джафара ходили к поверенному у большой мечети. Что поверенный взял с них пять динаров вперёд. Откуда у Мунира пять динаров, город не говорит. Город ещё не знает.

— А ты знаешь?

— Я знаю, что у Мунира нет и одного.

— Что ещё говорит город?

— Про Хакима город говорит мало, — сказал Насир. — Про Хакима говорить дорого. — Он помолчал. — У него сын, Амин. Красивый, как невеста, и пустой, как бурдюк в конце

перехода. Так говорят. У него шурина Фуад, который держит мост и толстеет на нём. У шурина сын Рияд, который гоняет коня у пустынных ворот и бьёт плетью тех, кто не успел отойти. — Насир повернул голову к двери, будто прислушиваясь. — А десять лет назад был купец Карам. Строил свои корабли, три сразу, на верфи за южной стеной. Хотел возить перец сам, мимо Хакима. Верфь сгорела ночью. Сказали, смолу варили и котёл опрокинулся. Карам продал то, что осталось, Хакиму. За десятую часть. Теперь Карам торгует смолой. Хаким у него покупает.

— Котёл опрокинулся.

— Котлы в Азмаре опрокидываются, когда нужно, — сказал Насир. — Это тоже говорит город. Только тихо.

Я положил на циновку динар. Он звякнул. Насир не потянулся к нему, но лицо его чуть изменилось.

— Каждый месяц, — сказал я. — За то, что говорит город. И за то, чего он ещё не знает.

— Я научил тебя языку, — сказал Насир. — Чему ты научился сам — не знаю. И боюсь узнать.

Но динар взял. Нашупал пальцами, взвесил и спрятал за пояс.

* * *

Салих жил через три двери, в бывшем складе для квасцов.

Комната без окна, с белыми разводами на стенах от старой соли. Циновка, кувшин, сундук. На сундуке сидел Салих. Он стал ещё суше, если такое было возможно, — сухой, как вяленая рыба, с бородой, крашенной хной. Хна была свежей. Старик был беден, но бороду красил.

Он посмотрел на меня долго, тем же цепким взглядом, которым когда-то смотрел на меня в гавани. Не встал.

— Мансур, — сказал он.

— Салих.

— Ты пришёл посмотреть, что осталось.

— Да.

— Осталось это. — Он похлопал ладонью по сундуку. — Остальное взяли.

— Что в сундуке?

— Книги. — Салих помолчал. — Книги дома Джафара. Все. С первого года, как я пришёл к его отцу. Двоюродные хотели продать бумагу. Бумага дорогая, за неё дают на базаре по весу. Я сказал, что книги сгорели. Они поверили. Они не умеют читать, а то, чего не умеют, не ценят.

— И книга расчёта со мной?

— И она. — Салих посмотрел на меня. — Каждая строка. Твоя доля в обороте по каждому кругу. Отложенное серебро. Недоплаченное за два месяца. Выручка с моста, как считали при живом Джафаре. Под каждой строкой — его печать. Под каждой печатью — моя. Я проверял всё дважды. Ты помнишь.

— Помню.

Он встал, кряхтя, поднял крышку сундука и достал книгу в потёртой коже. Раскрыл на середине, не ища: знал, где. Я увидел свои цифры. Ровные строки, почерк Салиха, внизу каждой страницы — оттиск печати Джафара, тёмно-красный, и рядом — маленький оттиск Салиха. На последней странице — итог. Пятьсот четыре динара, золотом и жемчугом. Под итогом — печать Джафара и короткая чёрточка, которую он ставил своей рукой, когда уже не мог писать имени.

— Он поставил её за полгода до второго удара, — сказал Салих. — В уме. При мне и при писце кади. Писец жив.

— Мунир говорит, что ты обобрал умирающего. Он говорит это на базаре, у мечети, у колодца. — Салих скривил губы. — Он не знает, что книги целы.

— И не надо, чтобы знал. Пока.

Салих снова посмотрел на меня. Он не спросил, зачем. Он тридцать лет служил дому, где каждое слово было товаром.

— Мне нужен человек, который умеет считать и не берёт чужого, — сказал я. — Три динара в месяц.

— Я служил дому, — сказал Салих. — Ты — не дом.

— Пока нет.

Он долго молчал. Потом сказал:

— Сыновей Хаким взял на корабли. Обоих. Меня — нет. Сказал: старик. — Салих погладил крашеную бороду. — Три динара. За хранение книг. Служить я тебе не буду. Буду хранить.

— Этого достаточно.

Я отсчитал три динара на крышку сундука. Он не стал пересчитывать. Это было первое, что он сделал не так, как раньше.

* * *

Наила держала лавку в женском ряду, где мужчины ходят быстро и смотрят под ноги.

Лавка стала больше. Два прилавка, склад за занавесью, девочка-служанка, которая разворачивала ткани перед покупательницами. Сама Наила сидела в глубине, на подушке, со счётными палочками. Седина, которая раньше трогала только виски, теперь лежала широкими полосами. Тёмное платье, прямая спина, глаза, которые не опускались.

Она увидела меня и не удивилась.

— Мансур, — сказала она. — Мне говорили.

— Мир тебе, госпожа.

— Садись. — Она кивнула на подушку напротив, на расстоянии, какое прилично. — Ты пришёл за тканями?

— За льном. Две рубахи. Хороших, но таких, чтобы на улице не оборачивались.

— Такой лён дороже яркого, — сказала Наила. — Яркий продаётся сам. Неброский надо уметь шить.

Девочка принесла лён. Наила пощупала его сама, назвала цену. Я не торговался. Восемь дирхамов за рубаху, шестнадцать за две, это была честная цена.

— Ты вернулся не за льном, — сказала она, пока девочка заворачивала.

— Нет.

— Мунир ходил к поверенному. — Наила говорила тихо и ровно, глядя на свои палочки, а не на меня. — Жена Мунира на прошлой неделе взяла у меня шёлк на свадьбу дочери. Шёлк на сорок дирхамов. В долг. Сказала — до суда.

— До суда.

— До суда, — повторила Наила. — Люди, которые берут в долг до суда, знают, когда будет суд. И знают, что выиграют. — Она подняла на меня глаза. — Или им сказали, что выиграют.

— Кто сказал?

— Я торгую тканями, Мансур, — сказала Наила. — Я знаю, кто что покупает. Кто что говорит — пусть знают мужчины.

Она взяла мои шестнадцать дирхамов, пересчитала и положила в ящик.

— Приходи ещё, — сказала она. — Когда тебе понадобится не лён.

* * *

Дауда я нашёл на пристани Хакима.

Он таскал тюки с корабля на склад, в паре с другим грузчиком. Тюк с перцем весит килограммов шестьдесят. Дауд нёс его один, на плече, а напарник шёл рядом и придерживал. Он постарел. Рубец через бровь стал белым. Лицо, изрытое оспинами, загорело до черноты. Но спина была та же, широкая, и шёл он так же, как раньше, — тяжело и ровно, будто под ногами не доски, а камень.

Я подождал, пока он сбросит тюк у склада. Он выпрямился, вытер лицо рукавом и увидел меня.

Он ничего не сказал. В доме Джафара его считали немым. Он не был немым. Он просто не говорил с теми, с кем не о чем говорить. Со мной он говорил. Редко.

Дауд подошёл и остановился в шаге. Посмотрел на ногу, на лицо, на руки.

— Жив, — сказал он. Голос был глухой, как из колодца.

— Жив. Где брат?

Дауд опустил глаза.

— За проливом, — сказал он. — Из ямы продали. Когда Джафар умер. Долг никто не выкупил.

— Сколько у тебя?

— Тридцать один.

— Сколько просят?

— Семьдесят. — Он помолчал. — Было сорок. Потом узнали, что я коплю. Стало семьдесят.

Это было правильно с точки зрения работорговца. Когда покупатель известен, а товар один, цена растёт вместе с желанием покупателя. Я знал этот закон по прошлой жизни, только там продавали квартиры, а не братьев.

— Почему не поехал сам?

— Хаким не отпустит. Я у него три года. Уйду — назад не возьмёт. — Дауд пожал плечами, тяжело, как будто тюк ещё лежал на них. — И там убьют. Человек, который везёт за пролив тридцать один динар, туда доезжает. Обратно — нет.

— Как его зовут?

— Халиль.

— Сколько ему?

— Двадцать шесть. Был двадцать два.

С борта крикнули. У сходней стоял надсмотрщик Хакима — плотный, с палкой, в синей рубашке с весами в круге на груди. Он смотрел на Дауда, потом на меня. Смотрел дольше, чем нужно, чтобы позвать грузчика.

— Дауд! Тюки сами не ходят!

Дауд не обернулся. Надсмотрщик постоял, потом сунул палку под мышку и пошёл вдоль пристани к белому дому с весами над дверью. Не торопясь. Как идёт человек, которому есть что рассказать, но нет причин бежать.

В этом городе каждый разговор на пристани Хакима был разговором при Хакиме. Я это знал. Я и не прятался.

— Неси свои тридцать один вечером, — сказал я. — К колодцу медников. Дом Юнуса.

Дауд посмотрел на меня. Долго, исподлобья, тёмными спокойными глазами. Он не спросил, зачем. Он вообще редко спрашивал.

— Зачем тебе мои? — спросил он всё-таки.

— Затем, что это твой брат, — сказал я. — Не мой.

* * *

Корабль Девидаса стоял у той же пристани. Через три дня он уходил за пролив, в тот самый порт, где продают людей из азмарских ям. Девидас возил туда ткани и забирал оттуда слоновую кость и черепаховый панцирь.

Он принял меня на корме, на том же ковре, с тем же кувшином молока. Рядом сидел его приказчик — молодой банья с бритой головой и тонкой косичкой на затылке, в белом.

Я объяснил. Девидас слушал, не перебивая.

— Найти человека в порту за проливом можно, — сказал он, когда я кончил. — Купить можно. Там всё можно купить. — Он посмотрел на меня поверх кувшина. — Привезти раба в Азмар тоже можно. Здесь он будет твоим.

— Не будет.

— Тогда как?

— Твой человек находит Халиля. Покупает. В тот же день ведёт его к кади того порта и отпускает на волю. При свидетелях, с бумагой. Халиль садится на твой корабль свободным. Я плачу за всё. Но я не покупаю его. Ни на день. Ни на час.

Девидас помолчал. Приказчик смотрел на меня с любопытством, как смотрят на редкую монету.

— Ты не покупаешь людей, — сказал Девидас.

— Не покупаю.

— Тогда это будет дороже. — Он поставил кувшин. — Шестьдесят восемь за человека, если мой человек хорошо поторгуется. Работорговцы за проливом знают имя брата, но не знают лица моего приказчика. Восемь — писцу кади за бумагу о воле. Двенадцать — моему человеку за труд. Четыре — место на корабле обратно. Девяносто два.

— Девяносто два.

— И ещё. — Девидас поднял палец. — Если его продали дальше, вглубь, на соль или в каменоломни, — будет дольше. Может быть, полгода. Может быть, мы его не найдём. Деньги за поиски я не верну.

— Не возвращай.

Он кивнул приказчику. Тот достал из-за пояса узкую книжку и записал. Имя, возраст, когда и из какой ямы продан.

* * *

Вечером Дауд пришёл к колодцу медников.

Он постучал один раз. Я открыл. Он стоял на пороге — на моём пороге, на камне, под которым лежали двести пятьдесят и талер, — и протягивал мне узел из грязной тряпки.

Я развязал узел на крышке колодца. Тридцать один динар. Разные: азмарские, хаджарские, два стёртых до того, что не разобрать чеканки. Шесть лет таскания тюков. По пять динаров в год, может, по шесть. Я пересчитал вслух, при нём.

— Тридцать один.

Дауд кивнул.

Я мог отдать узел обратно. Сказать: оставь, я заплачу сам. Шестьдесят один или девяносто два — для меня разница была меньше, чем для Дауда один динар. Но человеку, который копил шесть лет, нельзя говорить, что его деньги не нужны. Это значит сказать ему, что шесть лет были зря. Я взял узел и положил к своим шестидесяти одному.

— Девяносто два, — сказал я. — Твоих тридцать один, моих шестьдесят один. Человек Девидаса едет через три дня. Найдёт — привезёт свободным. С бумагой. Не найдёт — значит, не найдёт.

— Когда?

— Когда найдут. Может быть, полгода.

Дауд постоял. Потом сделал то, чего я от него не ждал. Он взял мою руку своей — широкой, тяжёлой, с мозолями от веревок — и сжал. Один раз. Коротко. Как будто поставил печать.

И ушёл, ничего не сказав.

* * *

Человек от кади пришёл на следующий день, после полуденной молитвы, когда я сидел во дворе и ел яйца с солью.

Молодой, в белом, с посохом. Писцы кади ходят с посохами, чтобы их отличали от других писцов. Он постучал посохом в дверь трижды, как положено, и когда я открыл, развернул перед собой лист.

— Мансур, чужеземец, живущий у колодца медников в доме Юнуса, торговца пряностями? — спросил он.

— Я.

Он прочитал ровным голосом, не глядя на меня.

— Мунир и Талал, сыновья сестёр покойного купца Джафара, да помилует его бог, жалуются кади Азмара. Они говорят, что чужеземец Мансур, служивший в доме Джафара, обобрал умирающего. Что он взял из дома золото и жемчуг, когда хозяин лежал без речи после удара. Что он присвоил выручку моста и тайны дома. Они просят вернуть взятое и уплатить сверх того за ущерб. — Писец свернул лист. — Кади зовёт тебя в четверг, после утренней молитвы, к большой мечети. Приводи свидетелей, если они у тебя есть.

Он поклонился и ушёл, стуча посохом по камням.

Я закрыл дверь и вернулся к яйцам. Одно ещё лежало на крышке колодца. Я посолил его и съел.

Пять динаров поверенному. Шёлк на сорок дирхамов в долг до суда. У Мунира не было и одного.

Глава 5. Иск

Три дня до четверга я потратил на то, чтобы не делать ничего заметного.

Утром — крыша, отжимания, камень, жердь. Потом яйца у старухи. Потом лавка Юнуса, где я пил чай и слушал, как он рассказывает, что весь сук говорит про суд. Юнус говорил, что Мунир ходит по рядам в новом шёлковом халате и обещает лавочникам долги отдать в пятницу. Юнус говорил, что Талал купил себе осла. Юнус говорил, что ставят три к одному на двоюродных, потому что чужеземец против родни у кади ещё не выигрывал ни разу.

— А ты на кого ставишь? — спросил я.

— Я не ставлю, — сказал Юнус и прищурил глаз. — Я торгую перцем. Перец растёт в цене при любом кади.

Днём, в жару, я лежал в тёмной комнате и считал.

Иск был слабым. Книги целы. Печати целы. Писец жив. Мунир не знает, что книги целы, иначе не пошёл бы. Значит, кто-то сказал ему, что книги сгорели, и что выиграть можно одним свидетелем. Свидетель, которого Мунир сам не нашёл бы. Поверенный, которому Мунир не смог бы заплатить.

Иск был слабым, и тот, кто за него заплатил, это знал. Значит, он платил не за победу. Он платил за то, чтобы я постоял у большой мечети перед всем городом и почувствовал, что значит быть в Азмаре одному. Чужеземец против родни. Три к одному.

Хороший маркетинг. Недорогой. Пять динаров поверенному, сколько-то свидетелю, сорок дирхамов шёлка, который купит не он.

Вечером в среду я пошёл к Салиху.

Он сидел на своём сундуке при лампе и чинил сандалию шилом. Когда я сказал, что завтра книга нужна у кади, он долго молчал. Шило ходило туда-сюда.

— Двоюродным я сказал, что книги сгорели, — сказал он наконец. — Если я принесу книгу к мечети, весь город увидит, что старый Салих солгал крови Джафара. Мне жить у красильщиков. Мне здесь покупать хлеб.

— Тебе платят три динара за хранение.

— За хранение.

— Хранить — значит и показывать, когда надо, — сказал я. — Иначе это не хранение. Это прятанье.

Салих положил сандалию на колени.

— Писец Хайдар живёт за южной стеной, — сказал он. — Ему восемьдесят. Он не выходит из дома с прошлой зимы. Без него книга — только моя печать рядом с печатью мёртвого. — Он посмотрел на лампу. — Я подумаю.

Больше он ничего не сказал. Я ушёл, не зная, придёт он или нет. В прошлой жизни это называлось ключевой зависимостью: всё дело держится на одном человеке, и ты не можешь его купить.

* * *

В четверг, после утренней молитвы, у большой мечети былолюдно.

Кади судил под навесом у восточной стены, на возвышении из утоптанной глины, покрытом ковром. По правую руку от него сидели писцы с досками на коленях, по левую — двое стариков, которые знали закон и обычай. Перед возвышением, на земле, стояли тяжущиеся. За ними — город.

Город пришёл посмотреть. Человек триста, если считать по головам. Носильщики с пристани, лавочники из сука, водоносы с бурдюками, женщины в дальнем конце, у колонн. Я узнал Наилу: она стояла среди женщин, в тёмном, и не смотрела в мою сторону. Юнус стоял у

колодца, отдуваясь, с мальчиком, который держал над ним кусок мешковины от солнца. Насира привёл за руку один из его учеников.

Кади был стариком. Сухой, с белой бородой до пояса, в белом. Голос у него не поднимался выше разговора, и поэтому, когда он говорил, площадь замолкала до последнего водоноса. Говорили, что за тридцать лет на этом ковре он не взял ни одного подарка. Говорили, что один купец прислал ему корзину фиников, и кади велел раздать их у мечети, а купцу отказал в иске, не дослушав.

Мунир стоял слева. Толстый, мокрый, в новом шёлковом халате цвета граната. Халат был ему тесен под мышками. Рядом — Талал, тощий, с быстрыми глазами, которые бегали по толпе, будто считали, сколько людей видит его сегодня. Между ними — поверенный Шариф, гладкий человек лет сорока, с ухоженной бородой и бумагами в руке.

Я стоял справа. Один.

Салих должен был прийти. Его не было.

* * *

— Говорите, — сказал кади.

Поверенный Шариф поклонился и заговорил. Говорил он хорошо, гладко, с паузами в нужных местах, как говорят люди, которым платят за слова.

— Почтенный Джафар, да помилует его бог, сорок лет строил свой дом. Всё, что он имел, по закону и по обычаю переходит к его крови. — Он обвёл рукой Мунира и Талала. — Но кровь его получила стены. Только стены. Потому что за полгода до смерти почтенного Джафара, когда он лежал после первого удара, без речи, не владея рукой, в доме сидел чужеземец. Этот человек. Мансур. Он вёл книги. Он держал ключи. Он ушёл из Азмара с золотом и жемчугом, которых у него не было, когда он пришёл. Пришёл он с пустыми руками, это знает весь город. Он служил переводчиком в порту за медь. А ушёл с пятьюстами динаров.

По площади прошёл шум. Пятьсот динаров для водоноса — это жизнь. Для лавочника — десять лет.

— Мы просим вернуть взятое, — сказал Шариф. — Пятьсот динаров. И ещё пятьсот за ущерб, потому что этот человек унёс с собой тайны дома: как сводить корабли и караваны. Мост. Мост, который приносил дому Джафара деньги, а теперь приносит другому.

Это была ошибка. Мост теперь приносил деньги Хакиму. Шариф произнёс это и, кажется, сам не понял, что сказал. Кади понял: я видел, как дрогнула его бровь.

— Свидетели есть? — спросил кади.

— Есть, — сказал Шариф. — Хамис, сын Азиза.

Из толпы вышел человек. Тщедушный, вертлявый, с жидкой бородкой. Я узнал его не сразу. Потом узнал. Приёмщик со склада Джафара. Тот, который носил цифры в рукаве и однажды пытался повесить на Дауда недостачу в три тюка. Я тогда поймал его на счёте.

Хамис поклонился кади, не глядя на меня.

— Говори, — сказал кади.

— Я служил в доме Джафара приёмщиком, — сказал Хамис. Голос у него был тонкий и быстрый. — Я видел своими глазами. Ночью, за месяц до того, как этот человек ушёл из Азмара. Хозяин лежал наверху, без речи. А этот человек выносил из счётной мешки. Тяжёлые. Три мешка. Я стоял у склада и видел. Он нёс их к задней калитке.

— Почему ты молчал четыре года? — спросил кади.

— Боялся, — сказал Хамис. — Он был правой рукой хозяина. Кто бы мне поверил?

— А теперь не боишься?

— Теперь хозяина нет. И этот человек — снова никто.

Площадь загудела. Мунир вытер лоб рукавом граната. Талал улыбнулся.

* * *

— Ты, — сказал кади мне. — Говори.

Я поклонился. Не низко. Так кланяется человек, который пришёл не просить.

— Я служил Джафару, — сказал я. — Сначала переводчиком в порту. Потом при счётной. Потом правой рукой. Когда он заболел, он предложил мне держать дом. Я отказался. Он рассчитал меня. По книгам, при приказчике дома и при писце кади. За полгода до второго удара. Пятьсот четыре динара: моя доля в обороте по каждому кругу, отложенное серебро, недоплаченное за два месяца, выручка с моста. Каждая строка — с печатью Джафара. Последняя — с его знаком, который он ставил своей рукой.

— Где книги? — спросил кади.

— Книги сгорели, — сказал Шариф быстро. — Весь город знает. Книги дома Джафара сгорели в ту зиму, когда умер хозяин.

— Я спросил его, — сказал кади, не повернув головы.

Я посмотрел на толпу. Салиха не было.

Пауза длилась, может быть, десять секунд. Мне показалось — минуту. Я слышал, как у колодца плещет вода. Как кто-то в толпе кашлянул. Как Талал переступил с ноги на ногу.

Потом толпа у южного края расступилась.

Салих шёл медленно, держась рукой за поясницу. Сухой, в чистом, с бородой, крашеной хной до огненного цвета. Под мышкой — книга в потёртой коже. За ним, опираясь на посох, шёл второй старик, ещё старше, совсем белый, с пальцами, почерневшими от чернил до второго сустава. Ещё дальше, на шаг позади, шёл Дауд, огромный и молчаливый, и люди отступали перед ним, как отступают перед грузёным верблюдом.

— Прости, почтенный, — сказал Салих кади. — Старые ноги. Писец Хайдар живёт за южной стеной. Его надо было довести.

* * *

Кади взял книгу сам. Он не дал её писцам. Он положил её на колени и стал листать, медленно, страницу за страницей, глядя на каждую печать.

Площадь молчала.

— Печать Джафара, — сказал кади. — Я её знаю. Я видел её под тремя сотнями договоров. — Он перевернул страницу. — Печать приказчика. — Ещё страницу. — Знак.

Он поднял глаза на писца Хайдара.

— Ты писал?

— Я писал, — сказал Хайдар. Голос у него был тихий и дребезжащий, как треснувшая чашка. — Я был тогда писцом при твоём предшественнике, почтенный. Джафар позвал меня в дом. Он лежал, половина лица не двигалась. Но говорил. Медленно, но говорил. Он сказал: запиши, Мансур рассчитан по чести, ничего ему не должен и он мне ничего. Я записал. Он поставил знак. Рука у него дрожала, но знак — его.

— Он был в уме?

— Он поправил меня дважды, — сказал Хайдар. — Я написал пятьсот, он сказал — пятьсот четыре. Я написал сорок дирхамов за последний месяц, он сказал — сорок два, ты не посчитал праздник.

Кто-то в толпе засмеялся. Джафара в Азмаре помнили. Он и мёртвый считал лучше двоюродных.

Кади закрыл книгу и посмотрел на Хамиса.

— Когда ты видел мешки?

— За месяц до ухода, — сказал Хамис. Голос у него стал ещё тоньше. — Ночью.

— Салих, — сказал кади. — Что твоя книга говорит про приёмщика Хамиса?

Салих раскрыл книгу на другом месте. Он не искал: знал, где. Он всё знал, где.

— Хамис, сын Азиза, приёмщик, — прочитал он ровным голосом. — Выгнан из дома за обвес. Три тюка сукна, записанные недостатчей на грузчика. Месяц и число. — Салих поднял

глаза. — За год и два месяца до того, как Мансур ушёл из Азмара. С того дня на склад его не пускали. Стража у ворот знала его в лицо.

— Не было его, — сказал Дауд.

Глухо, коротко. Два слова. Половина площади обернулась: многие не слышали его голоса никогда.

* * *

Кади сидел молча, может быть, полминуты. Потом сказал, не поднимая голоса, и площадь услышала каждое слово.

— Мёртвый рассчитался с живым при свидетелях. Своей печатью и своей рукой, в своём уме. Что Джафар отдал при жизни, то не наследство. Иск отклонён. Мунир и Талал платят суду за труд писцов. — Он помолчал. — Хамис, сын Азиза. Ты сказал перед этим ковром то, чего не видел. Двадцать ударов у ворот мечети. И с этого дня твоё слово не примут ни в одном суде Азмара.

Хамис упал на колени. Двое стражников подняли его под руки и повели к воротам. Он что-то кричал, тонко, быстро. Кади уже не слушал. Он смотрел на поверенного Шарифа.

— Ты сказал, что книги сгорели, — сказал кади. — Кто тебе сказал?

Шариф побледнел.

— Мне сказали истцы, почтенный.

— Истцы не умеют читать, — сказал кади. — Откуда им знать, что сгорело, а что нет? — Он не ждал ответа. — Иди. В следующий раз, когда тебе скажут, что книги сгорели, сходи и посмотри на пепел.

Мунир стоял, не двигаясь. Халат цвета граната потемнел под мышками. Талал уже уходил через толпу, быстро, не оглядываясь.

От ворот мечети донёсся первый удар. Сухой, как будто переломили палку. Потом второй.

Толпа начала расходиться. Те, кто ставил на двоюродных, уходили молча. Те, кто ставил на меня, — их было мало — уходили быстро, чтобы успеть собрать долги, пока должники не опомнились.

Мунир подошёл ко мне сам. Он шёл тяжело, раскачиваясь, и лицо у него было мокрым не только от жары.

— Ты думаешь, ты выиграл, — сказал он тихо. — Мне обещали, что книг нет.

— Кто обещал?

Мунир открыл рот. Потом посмотрел через моё плечо, куда-то на угол мечети, и закрыл. Повернулся и пошёл прочь, подбирая полы гранатового халата.

Я обернулся. У угла мечети, в тени, никого не было. Только на земле, там, где кончалась тень, стояли следы сандалий, ровные, неторопливые, уходящие в переулок. Такие следы оставляет человек, который никуда не опаздывает.

Выиграть у родни перед всем Азмаром — значит стать заметным вдвойне. Вчера меня знали как вернувшегося. Сегодня — как чужеземца, который победил кровь у кади. Я этого не хотел. Но выбора мне не дали: проигрыш стоил бы тысячу динаров и имени, а выигрыш — только тишины.

* * *

Салих сел на ступени мечети, в тень, и долго дышал. Я сел рядом.

— Ты опоздал, — сказал я.

— Хайдар не мог найти сандалии, — сказал Салих. — Старики. — Он помолчал. — Ты боялся?

— Я считал.

— Что?

— Сколько стоит в Азмаре чужеземец, у которого нет книги.

Салих посмотрел на меня. Потом кивнул, как кивает человек, который сорок лет считал чужие деньги.

— Пятьсот четыре динара, — сказал он. — И ещё столько же за ущерб.

Я заплатил писцу кади один динар за список решения, с печатью. Хайдару — два, за то, что дошёл. Он взял, не пересчитывая, и сказал, что Джафар тоже всегда платил за дорогу. Дауд стоял у колонны и смотрел на площадь. Когда я подошёл, он сказал:

— Видел. Мешков не было.

— Знаю.

— Хамиса тогда я бы убил. За три тюка. — Он пожал плечами. — Ты не дал.

— Не дал.

— Зря, — сказал Дауд и ушёл к пристани.

* * *

Хамиса нашли утром.

Он лежал на дне колодца у красильщиков, где вода была синей от краски. Лицом вниз, в полуметре воды, со спиной в рубцах. Голова разбита о камень кладки. Сказали: после двадцати ударов ослабел, ночью пошёл за водой, оступился на мокром краю. Сказали: бог наказал лжесвидетеля дважды. Воду из колодца красильщики вычерпали до дна и три дня носили из другого.

Двадцать ударов не убивают. Я видел людей, которые после сорока уходили домой сами. Но лжесвидетель, который знает, кто ему заплатил, — это расписка на двух ногах. Расписки, по которым всё уже получено, жгут. Кто сжёг эту, я не знал. Я знал только, что не я, и что тот, кто сжёг, сделал это быстро: Хамис не дожил даже до утренней молитвы.

Я узнал об этом от Юнуса, за утренним чаем. Юнус качал головой и говорил, что так и бывает, когда человек врёт перед ковром кади. Мунир, говорил Юнус, сидит дома и никуда не выходит. Жена Мунира понесла шёлк назад, к Наиле. Наила взяла, но не всю цену.

— А кто ставил три к одному? — спросил я.

— Все ставили, — сказал Юнус и засмеялся. — Теперь все платят.

* * *

К Насиру я пошёл после полудня.

Мальчишек в каморке не было. Насир сидел один, с палкой на коленях, и ел финики, нащупывая их в чашке. Когда я сел на циновку, он не повернул головы.

— Хамис в колодце, — сказал он.

— Я слышал.

— Ты не слышал главного. — Насир выплюнул косточку в ладонь и положил на край чашки. — Мальчишка, который подаёт поверенному Шарифу воду и чернила, учится у меня грамоте. Учится плохо. Но слушает хорошо. За неделю до суда к Шарифу приходил человек. Принёс пять динаров для поверенного и десять для Хамиса. Сказал, что книги дома Джафара сгорели. Сказал, что чужеземцу хватит одного свидетеля, потому что за чужеземца в Азмаре не встанет никто.

— Какой человек?

— Неприметный, — сказал Насир. — Мальчишка сказал: в одежде цвета пыли. С седой стриженной бородой. Поклонился Шарифу так, будто кланяться ему было не обидно и не унижительно.

Он нащупал следующий финик и не стал его есть.

— Ты думал, твой враг — двоюродные Джафара, — сказал Насир. — Двоюродные Джафара не могут заплатить даже за свой шёлк. — Он повернул ко мне белые глаза. — Иск оплатил Хаким.

Глава 6. Да

Хаким сказал, что я разложу всё на четыре части. Я разложил на четыре.

Злиться на это было так же глупо, как злиться на то, что солнце встаёт на востоке. Человек, который двадцать лет собирает людей, знает, как каждый из них думает. Я знал то же самое о своих покупателях в прошлой жизни. Разница была только в том, что теперь покупателем был я.

Я лежал на крыше, на циновке, под звёздами. Внизу, во дворе, стоял колодец, в стенке которого лежали три тысячи. Под третьей ступенью — тысяча семьсот пятьдесят. Под кувшином — две с половиной. Под порогом — двести пятьдесят и талер. Восемь тысяч в ямах, семьсот на теле. Шесть — на полоске в кошелье.

Первое. Взять шесть тысяч и уйти.

Человек в сером отсчитает их ровно, золотом, без десятой части. Хаким сдержит слово, он всегда держит слово, это его товар. Четырнадцать тысяч. Больше, чем у любого купца в Азмаре, кроме Хакима. Куда? В Хинд, где казначей султана хочет меня при дворе и не любит отказов. К франкам, где я буду чужим среди чужих, с лицом, которое запомнит каждый. В Джульфар, где каждая лодка теперь — Хакима. В пески, где эмир. По любой дороге, по любому морю, к любому меняле — по сети Хакима. Он сказал: тот, кто берёт деньги и уходит, — уходит совсем. Это значило: становится тем, кого ищут. С четырнадцатью тысячами меня искали бы лучше, чем с восемью.

Второе. Остаться в Азмаре одному.

Восемь тысяч в ямах, дом у колодца медников, свой маленький оборот. Хаким не тронет меня сам. Ему не нужно. Он оплатил иск, который я выиграл, только чтобы показать, что может оплатить следующий. Следующий будет не о Джафаре. Следующий будет о чём угодно: о налоге, о долге, о краже, о свидетеле, который найдётся. И люди эмира, которые спрашивают у меня про хромого. В Азмаре меня защищает только он. Он сказал это сам и не соврал.

Третье. Воевать.

С кем? С сорока кораблями, мостом, хавалой, правителем, который ему должен, и человеком в сером, который двадцать лет платит вовремя? Я один. Восемь тысяч в ямах — это не армия. Это выкуп.

Четвёртое. Сказать да.

* * *

Над крышей прошла летучая мышь, низко, почти задев.

Сказать да — значило войти в клетку. Я видел её прутья: слова хавалы, печать, право отпустить, человек у стены, который работает по окончании. Я видел замок: шесть тысяч, которые станут строкой в чужой книге.

Но я видел и другое.

Путь этой клетки были сделаны из людей. Капитаны, караванщики, писцы, грузчики, менялы, приказчики, родня. Хаким двадцать лет собирал их одного к одному, как собирают сеть, узел за узлом. Сеть держит. Но сеть держится на узлах. А узлы — это люди.

Люди были моим ремеслом. Не сталь, не порох, не корабли. Люди. Я продавал им рекламу, которая им была не нужна, и они благодарили. Я продавал им хозяина, которого не существовало, и они платили. Я знал, что каждый из них хочет, ещё до того, как они сами это понимали.

Хаким предлагал мне управлять его людьми. Каждый день, с утра до ночи. Говорить с ними, платить им, решать за них. Он отдавал мне узлы своей сети в руки, а себе оставлял только конец верёвки.

Служить сильному или переиграть его и остаться тенью. Я думал, что это два разных пути. Под звёздами над колодцем медников я понял, что это один путь, только разные его концы.

Утром я сказал себе: да.

* * *

Но сначала я пошёл к Салиху.

Он не спал. Старики в Азмаре встают до первой молитвы и сидят у двери, глядя, как светлеет проулок. Салих сидел на пороге своего склада для квасцов и жевал сухую лепёшку.

— Я иду к Хакиму, — сказал я. — Скажу ему да.

Салих перестал жевать.

— Джафар бы не одобрил.

— Джафар умер. Его дом съела коза.

Салих ничего не ответил. Он не спорил с правдой, даже когда она ему не нравилась.

Я достал из рукава сложенный лист, перевязанный ниткой. Нитку я залил воском и приложил к воску ноготь большого пальца. Своей печати у меня больше не было, а ноготь поддевать труднее, чем печать.

— Положи в сундук. К книге расчёта.

— Что там?

— Кто заплатил поверенному Шарифу. Кто дал Хамису десять динаров. Имя мальчишки, который это видел. Когда и сколько. — Я помолчал. — Если со мной что-нибудь случится, отнеси это кади. Не правителю, не Хакиму. Кади. Он не берёт фиников.

Салих взял лист. Повертел, посмотрел на воск, на след ногтя.

— Страховка, — сказал он. Слово было не здешнее, я сказал его когда-то в счётной Джафара, и старик запомнил.

— Страховка.

— Кади не может судить Хакима, — сказал Салих. — Хаким дал деньги на крышу большой мечети.

— Кади не может судить. Но кади может перестать пить его чай. — Я пожал плечами. — Этого хватит, чтобы Хаким считал меня живым дороже, чем мёртвым. Мне не нужно больше.

Салих спрятал лист за пазуху и поднялся, держась за косяк.

— Я положу, — сказал он. — Иди. Солнце встаёт.

* * *

К Хакиму я пошёл без человека в сером. Сам.

Привратник открыл, не спрашивая. Мальчик у цистерны поднимался по ступеням с кувшином. Во дворе было прохладно: солнце ещё не перевалило через стену.

Хаким сидел в меджлисе, у окна на гавань, с чашкой в руке и с раскрытой книгой на низкой подставке. Книга была толстая, в кожаном переплёте, с медными уголками. Бишр стоял у стены.

— Восемь дней, — сказал Хаким, не поднимая глаз от книги. — Я давал тебе две недели. Ты быстрее, чем я думал.

— Я считаю быстро.

— Ты выиграл у двоюродных Джафара. — Он перевернул страницу. — Весь город видел. Хорошо. Город должен знать, что мой управляющий чист перед кади. Если бы ты пришёл ко мне с этим иском на шее, о нём говорили бы год. Теперь не скажут ни слова.

Я сел напротив и ничего не ответил.

Он оплатил иск, который я выиграл. Если бы я проиграл, он получил бы меня прижатым к стене, без денег и без имени, готового на что угодно. Если бы выиграл — получил бы управляющего, которого кади при всём городе объявил честным. Он заплатил пять динаров пове-

ренному и десять лжесвидетелю за товар, который приносил прибыль при любой цене. Хамис в колодце был последней строкой этой сделки. Расходы закрыты.

Я восхищался бы этим ходом, если бы он был не против меня.

Мальчик принёс чай. Я выпил.

— Да, — сказал я.

Хаким закрыл книгу. Посмотрел на меня. В его глазах не было ни радости, ни торжества. Только внимание оценщика, который давно знал цену и теперь просто видит, что покупатель её заплатил.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда давай писать.

* * *

Человек в сером сел у подставки с пером и листом. Писал он быстро и ровно, почерком без украшений.

— Шесть тысяч, — сказал Хаким, — которые лежат у меня на имя Мансура по полоске из Сурата, входят в мой дом капиталом. Дом стоит шестьдесят тысяч. Шесть — десятая часть.

— Сорок пять, — сказал я.

Хаким поднял бровь.

— Корабли после трёх сезонов стоят две трети, — сказал я. — После шести — половину. У тебя одиннадцать кораблей старше шести сезонов. Я видел их в гавани: на трёх меняли обшивку прошлым летом, на двух заплаты ниже воды. Сорок пять. Тогда шесть — это не десятая. Это седьмая с половиной.

Человек в сером перестал писать.

Хаким смотрел на меня долго. Потом засмеялся. Тихо, в бороду.

— Ты считал мои корабли с пристани, — сказал он. — В первый день. Пока носильщики несли твои финики.

— Во второй.

— Пятьдесят, — сказал Хаким. — Не будем торговаться о кораблях, Мансур. Я продам тебе седьмую часть дома за шесть тысяч, когда ты покажешь мне, что умеешь её поднять. Сейчас — десятая. Но у меня есть то, что я дам сверх десятой, и это будет дороже, чем разница.

— Что?

— Жалованье, тридцать динаров в месяц. Джафар платил тебе три. Пятая часть того, что мост и склады дадут сверх прошлого года. Не всего — сверх. Что прибавишь, с того и пятая. — Он отпил чаю. — Ты любишь, когда платят за результат. Я тоже.

Пятая часть прироста. Это было честнее, чем любая доля в доме, и опаснее. Честнее — потому что я получал ровно за то, что сделаю. Опаснее — потому что прирост знают все. Чем больше я прибавлю, тем больше заметят, что прибавил я.

— Хорошо, — сказал я. — И ещё одно. Мои деньги, которые не в твоём доме, — мои сделки. Я торгую своим, когда хочу и с кем хочу.

— На моих кораблях?

— С фрахтом. Как любой купец.

Хаким подумал. Покрутил перстень на пальце, сердоликом к себе, потом обратно.

— Своё — твоё, — сказал он. — Мои корабли — за фрахт, как у всех. Мой мост — за долю, как у всех. Чужим людям дома — ни слова о твоих делах, и ни одного человека дома в твои дела. — Он посмотрел на меня. — Управляющий, который торгует своим через хозяйских людей, однажды забывает, где своё.

— Я не забываю.

— Все так говорят, — сказал Хаким. — Пиши.

Человек в сером писал.

* * *

— Управляющий, — диктовал Хаким, — ведёт мост, склады в Азмаре, книги кораблей и людей дома. Его слово в этих делах — моё слово. Слова хавалы, печать дома и право отпустить управляющего остаются у хозяина. — Он подумал. — Десятая часть прибыли дома по капиталу управляющего выплачивается по окончании года.

По окончании. Я услышал это слово, как слышат знакомую мелодию в чужом доме.

— Почему по окончании?

— Потому что прибыль считают по году, — сказал Хаким. — Ты знаешь. Корабли уходят весной, приходят осенью. Перец продаётся зимой. Кто делит прибыль раньше, тот делит воздух.

Это было правдой. И всё равно это было его слово, а не моё.

— Если управляющий умрёт, — продолжал диктовать Хаким тем же ровным голосом, — его доля в капитале возвращается дому, а прибыль по ней — наследникам, если они есть.

— У меня нет наследников.

— Тогда — дому. — Хаким посмотрел на меня. — Так пишут у всех, Мансур. Мёртвым доля не нужна. Живым — нужна.

Я прочитал лист, когда человек в сером кончил. Дважды. Каждую строку. Шесть тысяч — капиталом, десятая часть. Жалованье — тридцать. Пятая часть прироста. Слова, печать, право — у хозяина. По окончании года. Если умрёт — дому.

Я видел договор, в котором моя смерть стоила Хакиму шесть тысяч чистой прибыли. Он видел, что я это вижу. Мы оба промолчали. Договор, который подписываешь, глядя, — это уже не ловушка. Это условие.

Позвали свидетелей. Писца из суда кади, молодого, с посохом. Двух купцов из нижнего ряда, которые продавали Хакиму верёвки и смолу. Один из них, сухой, с обожжёнными пальцами, посмотрел на меня с любопытством, когда я положил на ковёр половинку полоски.

— Карам, — сказал Хаким, проследив мой взгляд. — Продаёт мне смолу десять лет. Лучшую смолу в Азмаре.

Карам поклонился. Он не смотрел на Хакима. Я тоже.

Человек в сером взял половинку полоски, приложил к другой половинке, которую достал из книги, и посмотрел на зубчики. Сошлось. Он вложил обе половинки в книгу, между страницами, и закрыл переплёт.

Шесть тысяч перестали быть бумажкой у меня в кошеле и стали строкой в чужой книге.

Я поставил своё имя. Хаким приложил печать: весы в круге, тёмный оттиск на красном воске. Свидетели поставили свои знаки. Писец кади записал, что видел.

— Теперь, — сказал Хаким, — пойдём, я покажу тебя дому.

* * *

Дом собрали во дворе, у цистерны.

Человек сорок. Писцы моста, приказчики складов, двое нахуд, которые были в гавани, старший над грузчиками — тот самый надсмотрщик в синей рубаше, который смотрел на меня с пристани. Слуги. Повар. Мальчик с кувшином. В тени галереи стоял Фуад, грузный, в перстнях. Рядом с ним — Рияд, с плетью за поясом.

Хаким вышел на галерею и поднял руку. Двор замолчал.

— Это Мансур, — сказал он. — Многие его помнят. Он строил мост для Джафара, да помилует его бог. Теперь он мой управляющий. Мост, склады, книги кораблей и людей. Его слово — моё слово.

Пауза.

— Кроме слов хавалы, — добавил Хаким. — Это вы знаете.

По двору прошёл шум. Короткий, как ветер по пальмам. Надсмотрщик в синем поклонился первым, низко, глядя на меня. За ним — писцы. За ними — приказчики. Фуад не поклонился. Он смотрел на Хакима.

— Брат моей жены держит мост пятнадцать лет, — сказал Фуад громко, ни к кому не обращаясь. — И держит хорошо.

— Держит, — согласился Хаким. — Теперь будет держать вместе с Мансуром. Мансур посмотрит книги. Если удержишь хорошо — тебе нечего бояться.

Фуад побагровел. Рияд положил руку на плечо. Хаким уже не смотрел на них. Он смотрел на гавань.

Я стоял на галерее рядом с ним и смотрел на двор. Сорок человек. Сорок узлов. Каждый чего-то хочет. Надсмотрщик хочет остаться надсмотрщиком. Писцы хотят, чтобы новый управляющий не нашёл того, что они прячут. Приказчики хотят знать, чью сторону брать. Фуад хочет, чтобы я умер. Рияд хочет того же, но громче.

А Хаким хотел, чтобы я работал. И чтобы, когда работа кончится, она осталась у него.

Двор разошёлся. Хаким не уходил с галереи. Он стоял, опираясь на столб, и смотрел, как Фуад уходит к воротам, раскачиваясь, а Рияд идёт следом и бьёт плетью по сапогу.

— Его сестра была моей первой женой, — сказал Хаким. — Она умерла, когда рожала Амина. Тридцать лет назад. Фуад с тех пор считает, что я ему должен. Я пятнадцать лет плачу ему мостом.

— Сколько?

— Не знаю. — Хаким пожал плечами. — Я никогда не проверял. Родню не проверяют. Её терпят или хоронят. Ты посмотришь.

— А если я найду?

— Найдёшь. — Он отпил из чашки, которую всё это время держал в руке. — Фуада не трогай. Он брат моей жены. Ты понимаешь меня?

— Я никого не трогаю.

Хаким посмотрел на меня. Тем взглядом, которым смотрел на косточку финика, когда говорил про матроса на корабле Девидаса.

— Я знаю, — сказал он. — Ты считаешь. Вот и считай Фуада осторожно.

* * *

У ворот меня догнал человек в сером.

— Хозяин велел, — сказал он. — Пока в Азмаре люди эмира, за тобой будет ходить Бишр. Днём. В городе. Ночью он спит здесь.

Я посмотрел через его плечо. Бишр шёл по двору к воротам, не торопясь, огромный, с бритой головой, на которой блестело солнце. Мальчик у цистерны отступил с его дороги на две ступени вниз.

— Хозяин платит ему? — спросил я.

— Хозяин платит всем, — сказал человек в сером. — Вовремя.

Он поклонился и ушёл в дом.

Бишр остановился у ворот, в трёх шагах позади меня. Там, где стоял два года — в Хаджаре у калитки, в Джульфаре у протоки, в Сурате у сундука. Он смотрел поверх моей головы, на улицу.

Я вышел за ворота. Он вышел следом. Мы пошли вниз, к гавани, мимо белых стен верхнего ряда. Его шаги я слышал за спиной так же, как слышал два года. Тяжёлые, ровные, беззвучные почти, если не знать, что они там.

У моста, в тени галереи, стояли трое людей Фуада. Молодые, с ножами на поясе. Они смотрели, как я иду. Потом увидели Бишра за моей спиной и перестали смотреть. Один отвернулся к воде, двое стали разглядывать свои сандалии. Человек в два метра ростом со шрамом через всю щёку действует на молодых людей с ножами лучше любого договора.

Хаким дал мне его как охрану. Охрана, которая получает плату не от тебя, — это не охрана. Это присмотр. В прошлой жизни так приставляли к новому директору заместителя от акционеров: помогать. Все понимали, кому он помогает.

На повороте к мосту, у пустой стены, где никто не мог нас слышать, я остановился. Он тоже остановился. В трёх шагах.

— Бишр.

Он посмотрел на меня. Впервые с Сурата — прямо, сверху вниз, почти задевая головой ветку пальмы над стеной. Шрам от скулы до челюсти был тёмным.

— Тебе заплатили за меня?

Бишр подумал. Он всегда думал, прежде чем ответить, даже когда ответ был один.

— Мне заплатили, — сказал он. — Не за тебя.

Он помолчал ещё. Где-то в гавани закричал носильщик, потом второй.

— Пока, — сказал Бишр.

Глава 7. Мост

В первое утро я пришёл на мост до рассвета.

Бишр шёл в трёх шагах позади. Гавань ещё спала. На кораблях горели редкие огни, у причала шевелились носильщики, которые ночевали на тюках. Пахло водорослями и вчерашней смолой. Белый дом у воды стоял тёмный, с запертой дверью. Над дверью — весы в круге, вырезанные в камне.

Я сел на ступени и стал ждать.

Писцы пришли с первой молитвой. Двое. Старший — Маджид, лет пятидесяти, с длинными пальцами и сутулой спиной человека, который двадцать лет сидит над доской. Младший — его племянник, мальчишка лет восемнадцати, с чернильным пятном на щеке. Оба остановились, увидев меня на ступенях. Потом увидели Бишра и остановились ещё раз.

— Управляющий, — сказал Маджид и поклонился. Ниже, чем нужно.

— Открывай.

Внутри было то, что я видел с причала в первый день. Низкий стол, циновки, кувшин, весы. Только циновки были старые, кувшин пустой, а весы стояли так, что стрелку видел только писец. В глубине — второй стол, с книгами. В углу — сундук с замком. На полке — гири, от маленьких, с ноготь, до большой каменной, с голову ребёнка. Кантар. Сто ратлей. На неё взвешивали тюки.

— Книги, — сказал я. — За прошлый год. И за этот.

Маджид принёс. Пять толстых книг в коже, с записями от края до края. Я сел за дальний стол и открыл первую.

Бишр встал у двери. Солнце поднималось, и его тень легла через весь пол, от порога до моего стола.

* * *

Книги моста были написаны хорошо.

— Кто писал? — спросил я, не поднимая головы.

— Я, — сказал Маджид.

— Красиво пишешь.

— Двадцать лет, управляющий.

— Помарок нет. Ни одной за год.

— Хозяин не любит помарок.

— Какой хозяин?

Маджид помолчал. Племянник его перестал растирать чернила.

— Почтенный Фуад, — сказал Маджид тихо.

Это было первое, что я заметил. Хорошо написанные книги — плохой знак. Честный писец пишет, как получается: с помарками, с исправлениями, с пометками на полях. Тот, кому есть что прятать, пишет ровно. Ровные книги не читают. Их пролистывают и кивают.

Каждая сделка — строка. Имя капитана, имя караванщика, товар, вес, цена, доля моста. Доля — сороковая часть с каждой стороны. Внизу страницы — сумма. Внизу книги — итог. За прошлый год мост взял три тысячи четыреста восемьдесят. Двести девяносто в месяц. Хорошие деньги. При Джафаре в лучший год мы брали двести.

Я считал до полудня. Потом закрыл книги и пошёл к писцу налога.

Писец правителя сидел под своим навесом у конца причала, с доской на коленях, как в день моего прихода. Перед ним лежали счётные палочки — не одна, а целая связка, по палочке на каждый корабль, который входил в гавань за год. На каждой — зарубки. Одна зарубка — один тюк.

— Мне нужны палочки за прошлый год, — сказал я. — Все корабли, которые торговали через мост.

Писец посмотрел на меня. Потом на Бишра за моей спиной.

— Палочки — правителя, — сказал он.

— Я не возьму их. Я посмотрю. — Я положил на его доску дирхам. — При тебе.

Он подумал и подвинул дирхам к себе.

* * *

Я считал зарубки два дня.

Это было скучно, как бывает скучна любая работа, которая приносит деньги. Палочка, зарубки, имя корабля. Книга моста, строки, имя капитана. Сколько тюков пришло в гавань на этом корабле. Сколько из них прошло через мост. Разница — то, что капитан продал мимо моста, сам, на причале.

У большинства кораблей разница была небольшой. Капитаны продавали мимо моста свою мелочь: сукно для жён купцов, железо для кузнецов, которые приходили на причал сами. Пять тюков, десять. Это было нормально.

У шести кораблей разница была в сорок, пятьдесят, шестьдесят тюков.

Я выписал имена капитанов. Писец налога смотрел, как я пишу.

— Нашёл? — спросил он.

— Нашёл.

— Почтенный Фуад платил мне два дирхама в месяц, — сказал писец задумчиво, — чтобы я никому не показывал палочки. Ты дал один, чтобы посмотреть.

— Хочешь второй?

— Нет, — сказал писец. — Фуад уедет. Ты останешься. Мне выгоднее дешевле, но дольше.

Потом я пошёл на причал и поговорил с носильщиками. Носильщики знают всё: они носят. За медяк каждый, без Бишра, который остался в тени у моста, чтобы его рост не мешал людям разговаривать.

Шесть кораблей продавали свои тюки не мимо моста. Через мост. Только не через книгу. Капитан садился за стол, караванщик садился напротив, писец взвешивал, называл цену, и сделка шла как обычно. Но в книгу её не писали. Долю брали — две сороковых, как положено. Только брали не в сундук моста.

Брал человек Фуада. На причале, после сделки, в кошель.

А ещё был кантар.

Каменная гиря в сто ратлей стояла на полке, и на ней не было печати. Я взял её вечером, когда писцы ушли, завернул в мешковину и отнёс к смотрителю рынка у большой мечети. Смотритель держал у себя образцовые гири, с печатью кади, и за дирхам взвешивал любую другую против своей. Он поставил мою на одну чашу, свою — на другую.

Моя была тяжелее. На одиннадцатую часть.

Караванщик, который продавал через мост ладан, взвешивал его на тяжёлом кантаре. Сто ратлей по книге были сто одиннадцать по правде. Капитан, который покупал этот ладан, получал его взвешенным на правильном кантаре, который стоял у Фуада в другом складе. Одиннадцать ратлей с каждой сотни уходили в склад Фуада. Оттуда — к капитанам, которые не задают вопросов.

Я посчитал. Шесть кораблей мимо книги — около тысячи двухсот за год. Кантар — около семисот. Тысяча девятьсот. Больше половины того, что мост записал.

Родня — это расход, сказал Хаким. Он не проверял пятнадцать лет. Пятнадцать лет по тысяче девятьсот, если Фуад начинал скромнее, — двадцать тысяч, может быть, больше. Треть цены всего его дома ушла через одну каменную гирю и шесть капитанов.

В прошлой жизни я видел такое в каждой второй компании, где у основателя был шурин. Шурин всегда отвечает за закупки.

* * *

Хакиму я рассказал вечером, в меджлисе, без свидетелей.

Он слушал, не перебивая. Я положил перед ним список шести кораблей, зарубки на палочках против строк в книге, слова носильщиков, кантар в мешковине и записку смотрителя рынка с весом.

Хаким не стал смотреть на кантар. Он смотрел на список.

— Тысяча девятьсот, — сказал он.

— За год.

— А за пятнадцать?

— Не знаю. Палочки правителя хранят три года. Раньше их жгут.

Хаким помолчал. Взял чашку, отпил. Поставил.

— Фуад поедет в Джульфар, — сказал он. — Держать мои склады. Там нужен человек, который знает, как прятать товар от шейха. Фуад это знает лучше всех. — Он посмотрел на меня. — Это повышение. Так и скажут.

— А деньги?

— Деньги ушли, — сказал Хаким. — Деньги, которые ушли к родне, не возвращаются. Их можно только перестать давать. — Он чуть усмехнулся. — Ты нашёл за два дня то, чего я не хотел найти пятнадцать лет. Ты знаешь, почему я не хотел?

— Потому что пришлось бы что-то делать.

— Потому что пришлось бы делать то, что я сейчас сделал. А сестра его была моей женой. — Хаким покрутил перстень. — Теперь это сделал не я. Это сделал управляющий. Управляющий нашёл, хозяин решил. Хозяин справедлив, управляющий жесток. Так и скажут.

Он отдавал мне Фуада, как отдают долг, который сам не хочешь взыскивать. Ненависть Фуада ляжет на меня. Его благодарность за мягкое решение — на Хакима. Хорошее разделение труда.

— А Рияд? — спросил я.

— Мальчик останется в Азмаре. — Хаким взял финик. — Мальчик любит коня. В Джульфаре нет места, чтобы гонять коня. Там одна протока и мангры.

* * *

Фуад уехал через неделю, на корабле с синей кормой, со своими сундуками и двумя жёнами. Весь причал смотрел. На корабль его провожал Хаким — сам, в светлом, с чашкой в руке, и обнял его у сходней. Фуад обнимал его, как обнимают человека, которого хотят задуть.

Меня он не увидел. Я стоял на ступенях моста, и Бишр стоял за мной.

Рияд пришёл в тот же день, после полудня. На коне — гнедом, тонконогом, с серебром на уздечке. Он подъехал к самой галерее моста, туда, где сидели капитаны, и конь его переступал копытами у края циновки. Капитаны отодвинулись.

— Управляющий, — сказал Рияд громко. Для всего причала. — Мой отец пятнадцать лет держал этот мост. Ты держишь его неделю. Знаешь, в чём разница?

Я не встал с циновки.

— Скажи.

— Мой отец считал своё, — сказал Рияд. — А ты считаешь чужое. Потому что своего у тебя нет. Ни рода, ни дома, ни имени. Есть только чужие книги.

На причале стало тихо. Кто-то из носильщиков засмеялся и тут же замолчал.

— Твой отец считал чужое, — сказал я ровно. — На одиннадцатую часть больше, чем было. Хозяин знает. Хочешь, скажу всем, на сколько?

Рияд побелел. Рука его легла на плетень. Конь почувствовал и попятился.

Бишр сделал шаг вперёд. Один. Медленно, как делает шаг человек, который никуда не торопится. Он ничего не сказал и ни на кого не посмотрел. Он просто встал между конём и циновками, и гнедой упёрся ему мордой в грудь и остановился, как перед стеной.

Рияд посмотрел на Бишра снизу вверх. Потом развернул коня и уехал, хлестнув его так, что на боку осталась полоса.

Капитаны вернулись на свои места. Один из них, старый, с белыми бровями и трещинами в углах рта, налил себе воды из кувшина — кувшин теперь наполняли с утра — и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Сын у Фуада горячий. Горячие долго не живут.

* * *

Через две недели мост стал другим.

Я велел натянуть над площадкой перед дверью полотно на шестах, от стены до причала. Шестнадцать шагов тени. Двадцать два дирхама за полотно и шесты. Очередь больше не стояла на солнце. Кувшины наполняли трижды в день. Весы я повернул так, чтобы стрелку видели обе стороны. Кантар отдал смотрителю рынка, и тот поставил на новый, правильный, печать кади. Старый я велел разбить при всех на причале. Его били молотом полчаса: камень был хороший.

У двери, на стене, я повесил доску. Чёрную, гладкую, натёртую углём. Каждое утро младший писец, племянник Маджида, писал на ней мелом цены дня. Перец. Ладан. Соль. Сукно. Железо. Лес. Цена, которую мост считает верной, и доля моста — сороковая с каждой стороны, не больше.

В Азмаре цены никогда не писали на стене. Цену говорили тихо, наклонившись, и каждому свою. Доска у моста была первой. В прошлой жизни это называлось открытостью. Здесь это называли дерзостью, а через неделю стали приходить смотреть.

Караванщики, которые не умели читать, просили писца прочитать им доску вслух. Писец читал. Капитаны с моря, которые не знали здешних мер, приходили к доске до того, как сойти с корабля на причал. Перекупщики у ворот кричали, что мост сбивает цену. Мост не сбивал цену. Он её показывал. Это разные вещи, и перекупщики это понимали лучше всех.

Старый караванщик, который сидел со мной в тени в первый день, пришёл со своим ладаном на третьей неделе. Сел за стол, посмотрел на доску, на весы, на меня. Прищурился.

— Северянин вернулся, — сказал он писцу. — Тёмный только.

Писец не понял. Я понял.

* * *

Дауда я взял на мост на второй неделе.

Мне нужен был человек над грузчиками, которых мост нанимал за дирхам в день. Прежний старший был человеком Фуада и уехал с ним. Надсмотрщик в синей рубаше с пристани Хакима просил это место для своего зятя. Я сказал ему, что подумаю. Потом пошёл на пристань и сказал Дауду, что теперь он старший над грузчиками моста. Шесть динаров в месяц вместо дирхама в день.

Дауд посмотрел на меня.

— Хаким знает?

— Хаким сказал: мост — мой. Люди моста — мои.

Дауд кивнул один раз. На следующее утро он стоял у склада моста, и грузчики, которые месяц назад смеялись над немой, носили тюки молча.

Надсмотрщик в синем рубаше пошёл к человеку в сером. Я видел это с галереи. Человек в сером выслушал его и ничего не сказал. Хаким ничего не сказал тоже. Он держал слово: мост — мой.

* * *

В конце месяца я сел с Маджидом за дальний стол и подвёл черту.

Пятьсот сорок. Против двухсот девяноста в прошлом году за тот же месяц. Капитаны, которые раньше продавали мимо книги, теперь продавали через книгу: человека Фуада на причале больше не было, а доля, которую раньше брали в кошель, ложилась в сундук моста. Караванщики, которые раньше везли ладан к перекупщикам у ворот, везли его к доске. Новых сделок за месяц — на треть больше. Новых капитанов — одиннадцать.

Двести пятьдесят прироста за месяц. Пятая часть — пятьдесят. Моих. Плюс тридцать жалованья.

Восемьдесят динаров в месяц. Джафар когда-то платил мне три. Теперь мне платили в двадцать шесть раз больше, и я знал, сколько из этого — за то, что я делаю, и сколько — за то, что я делаю это у всех на виду.

Маджид закрыл книгу. Он больше не писал ровно. В его строках появились пометки, исправления, пометки на полях. Честные книги.

— Хозяин будет доволен, — сказал он.

— Хозяин уже доволен, — сказал я. — Хозяин не доволен, когда доволен я.

Маджид не понял. Он был хорошим писцом.

* * *

Мальчик прибежал на рассвете.

Я спал на крыше. Меня разбудил стук в дверь — не тремя ударами, как стучат писцы кади, а без счёта, кулаком, как стучат, когда не знают, откроют ли. Я спустился. За дверью стоял Дауд. Рядом с ним, держась за его руку, стоял мальчишка лет тринадцати, погонщик. Босой, в рваной рубаше, серый от пыли, с потрескавшимися губами.

— С пустынных ворот, — сказал Дауд. — Пришёл ночью. Один.

Я дал мальчишке воды. Он пил, пока не захлебнулся. Потом стал говорить.

Караван дома Хакима шёл из Сафры. Двадцать шесть верблюдов с ладаном, девять человек: погонщики, охрана, караванщик. Вёл старый Юсуф. Тот самый Юсуф, который в мой первый год на юге вёл караван Джафара в Сафру, со мной, с Тариком и с Даудом. Дауд стоял рядом и не шевелился.

На второй день пути, у чёрных камней, где когда-то укусила Тарика змея, из песков вышли всадники. Пятнадцать, может, двадцать. Быстро, со всех сторон. У охраны было четыре копыя. У всадников — луки. Мальчишка упал за убитого верблюда и лежал под ним до вечера, в крови и в мухах, не дыша. Он слышал, как резали погонщиков. Как кричал Юсуф. Как всадники грузили ладан на своих верблюдов и смеялись.

— Они говорили по-хаджарски, — сказал мальчишка. — Как люди с дальних колодцев. И у всех кинжалы в кривых ножнах.

— Сколько убили?

— Всех. — Он сглотнул. — Восемь. Юсуфа последним.

Девять человек вышли из Сафры. Восемь остались у чёрных камней. Двадцать шесть верблюдов с ладаном ушли на восток. Около тысячи четырёхсот динаров по цене моста. Пятая часть прироста складов за следующий месяц — моя пятая часть — лежала теперь в песке вместе с Юсуфом.

Я считал, пока он пил вторую чашку. Двое у меня в Азмаре спрашивают про хромого. Пятнадцать в песках режут караван хромого. Двое — глаза. Пятнадцать — руки. Эмир Хаджара не посылал больше одного человека за моей головой, пока я был один. Теперь я был управляющим большого дома, и он послал отряд. Каждый мой шаг навёрх стоил кому-то жизни. Сегодня — восьми.

— Что ещё? — спросил я. — Ты сказал не всё.

Мальчишка посмотрел на Дауда, потом на меня. Губы у него дрожали.

— Старший у них, — сказал он, — подошёл к Юсуфу, когда тот ещё был живой. Спросил, чей караван. Юсуф сказал: Хакима, из Азмара. Старший спросил: а кто теперь у Хакима управляющий? Юсуф сказал: Мансур.

Он замолчал.

— Дальше, — сказал я.

— Старший засмеялся, — сказал мальчишка. — И ударил. А потом сказал своим, громко, чтобы все слышали. Я лежал под верблюдом и слышал. — Он перевёл дыхание. — Он сказал: если кто живой остался, пусть передаст хромоту. Эмир помнит.

Глава 8. Финики

Хаким выслушал про караван молча.

Он сидел в меджлисе, у окна на гавань, и смотрел на воду, пока я говорил. Двадцать шесть верблюдов. Ладан из Сафры, около тысячи четырёрхсот по цене моста. Восемь человек у чёрных камней. Юсуф последним. Эмир помнит.

Когда я кончил, он долго не отвечал. Мальчик принёс чай. Хаким взял чашку и не стал пить.

— Юсуф водил мои караваны одиннадцать лет, — сказал он. — Ни разу не потерял верблюда. — Он поставил чашку. — Эмир Хаджара дорого платит за твою голову, Мансур. Моими деньгами.

— Я знаю.

— За всадниками в песок я никого не пошлю. Песок большой. Пятнадцать всадников в нём — как пятнадцать песчинок. — Он посмотрел на меня. — Но двое в городе. Ты знаешь?

— Четверо, — сказал я. — Двое пришли с караваном три недели назад. Ещё двое — неделю назад. Живут в караван-сараях у пустынных ворот. Платят хаджарским серебром. Спрашивают у меня, на какую ногу я хромаю, и сидят по вечерам у колодца медников.

Хаким чуть поднял бровь.

— Откуда?

— Мой старый учитель слепой. Слепые хорошо слышат. А грузчики моста носят воду в караван-сарай. — Я помолчал. — Я хочу их убрать.

— Бишр...

— Не Бишр.

Хаким посмотрел на меня долго. Тем взглядом, которым смотрел на косточку финика в первый вечер.

— Почему?

— Потому что Бишр работает по окончании, — сказал я. — Каждая его ночь ложится строкой в его книгу. Я не хочу, чтобы у него была книга толще моей. И потому что это люди, которые пришли за мной. Не за твоим домом. За мной.

Это было правдой наполовину. Вторую половину я не сказал: книга Бишра лежала не у меня, а у Хакима.

— Что тебе нужно от меня?

— Одно. Чтобы завтра никто в твоём доме не спрашивал, где управляющий был ночью. И чтобы никто не спрашивал, почему четверо хаджарцев в караван-сараях не проснулись.

Хаким взял чашку. Отпил. Чай был горячим, и пар поднимался над его бородой.

— Делай, — сказал он. — Я ничего не слышал.

Он отвернулся к окну. Разговор был окончен. Мне только что дали разрешение убить четверых человек тем же тоном, каким разрешают натянуть новое полотно над площадкой у моста.

Хаким получал всё, ничего не делая. Если я уберу их — я спас его дом от лазутчиков эмира, которые грабят его караваны. Если они уберут меня — он избавится от управляющего, который за месяц нашёл то, что Хаким не хотел найти пятнадцать лет. А его шесть тысяч вернутся в дом по договору. Если умрёт — дому.

Я вышел из меджлиса. Бишр стоял у двери и смотрел на улицу.

* * *

Слепой Насир рассказал мне про них всё, что рассказали ему мальчишки, водоносы и хозяин караван-сарая, который учил у Насира грамоте своего сына.

Старшего звали Бурхан. Лет пятидесяти, сухой, с седой подстриженной бородой и широким серебряным кольцом на большом пальце правой руки. Таким кольцом натягивают тетиву. Говорил мало, платил за всех. Второй — Наджиб, молодой, быстрый, всё время смеялся. Третий — Ханиф, молчун с луком в чехле, который он не снимал даже за едой. Четвёртый — Усама, большой, тяжёлый, с руками, как у Дауда. Они снимали комнату над воротами караван-сарая, на втором этаже, с окном на дорогу в пески. По утрам уходили в город по двое. По вечерам сидели у колодца медников, в двух поворотах от моего дома, и смотрели на мою дверь.

— Ждут, когда великан перестанет ходить за тобой, — сказал Насир. — Великан уходит ночевать к Хакиму. Ты остаёшься один. Они пока считают.

— Сколько им ещё считать?

— Хозяин караван-сарая говорит — они заплатили до конца недели. — Насир пожевал губами. — Люди, которые платят до конца недели, собираются уйти в конце недели. С чем-нибудь.

* * *

Яд я купил на следующее утро, на своё имя, при свидетелях.

Лавка торговца зельями стояла в конце сука пряностей, за лавкой Юнуса. Тёмные горшочки на полках, связки сушёных трав, змеиная кожа на гвозде. Торговец, сухой старик в белом, взвесил мне на маленьких весах серый порошок и завернул в бумагу.

— Для крыс? — спросил он.

— Склады моста. Крысы прогрызают мешки с рисом.

— На мешок зерна — на кончике ножа, — сказал торговец. — Насыпать у норы, не на зерно. Не держи рядом с мукой. Не трогай мокрыми руками. — Он посмотрел на меня поверх весов. — Человеку хватит щепоти. К утру его нет. Сначала живот, потом сердце.

— Я не буду кормить им людей.

— Все так говорят, — сказал торговец. — Два дирхама.

Вечером я записал в книгу моста, своей рукой, под расходами за день: яд для крыс на склады, два дирхама. Маджид прочитал через плечо и кивнул. Хорошая запись. Честная. Всё, что записано в книге, — уже не тайна. А то, что не тайна, никто не ищет.

Половину порошка я насыпал у нор на складе моста. Утром Дауд вынес на причал тридохлые крысы, держа их за хвосты, и бросил в воду. Крысы были большие, с бурой шерстью. Порошок работал.

* * *

Финики мне прислал Хаким. В первую неделю после чистки моста, корзину, с мальчиком. Крупные, тёмные, почти чёрные, с медовым блеском на кожице. Из его загородного сада у колодцев, сказал мальчик, в часе от стен. Лучший сорт Азмара. Хозяин шлёт управляющему за работу.

Я выбрал двенадцать самых крупных.

Ночью, в кухне, при лампе, я вынул из каждого косточку. Тонким ножом, которым повар Юнусова шурина чистил рыбу: другого ножа в доме не было. Разрез — сбоку, вдоль, на ширину ногтя. В каждый финик — очищенный миндаль. Миндаль я перед этим обвалил в порошке, как обваливают в сахаре, и стряхнул лишнее. Серый налёт на белом орехе. В тёмной мякоти финика его не было видно совсем.

Руки я вытер тряпкой, тряпку бросил в очаг. Нож — туда же, в угли, до утра. Потом вымыл руки трижды, с золой, у колодца.

Двенадцать фиников с миндалём я положил на медное блюдо горкой, ровно, как кладут гостям. Рядом, с краю, — горсть простых, с косточками, из той же корзины. Двенадцать для них. Горсть для меня. В Азмаре гостю подают лучшее. Хозяин ест то, что проще. Это обычай. Обычай — это то, что люди делают, не думая. А то, что люди делают не думая, можно рассчитывать.

Ещё я договорился с рыбником.

Рыбник на причале продавал жареную рыбу с лотка, по медяку за кусок. Днём, в жару, рыба, которую он жарил утром, лежала на солнце под мешковиной. Я дал ему дирхам и сказал: завтра в полдень у твоего лотка будут четверо из песков, хаджарцы. Отдай им всё, что осталось с утра. Даром, скажи, — от управляющего моста, в знак мира. Рыбник взял дирхам и не спросил ничего. Рыбники на причале не спрашивают. Они продают.

Пустынные люди не знают моря. Они не знают, что рыба, пролежавшая полдня на солнце в Азмаре, к вечеру становится ядом сама. Завтра город скажет: рыба. Город всегда говорит самое простое.

* * *

Приглашение отнёс водонос.

Мальчишка, который носил воду в караван-сарай, сказал Бурхану на словах: управляющий Мансур хочет говорить с людьми эмира. Без ножей. В вашей комнате, после вечерней молитвы. Он придёт один и придёт не с пустыми руками.

Бурхан, сказал водонос, засмеялся и ответил: пусть приходит.

Люди, которые охотятся, любят, когда дичь приходит сама. Это экономит им время. Они не думают, зачем дичь пришла. Они думают, сколько на ней мяса.

Дауд ждал меня во дворе караван-сарая, у корыта для верблюдов, с двумя грузчиками моста. Он сидел на корточках и чинил ремень, как человек, который ждёт караван. Я прошёл мимо него, не останавливаясь. Мы договорились днём. Если я не выйду до второй стражи, он поднимется. Если выйду — он ничего не видел.

Бишра со мной не было. Ночью Бишр спал у Хакима.

* * *

Комната над воротами была длинной и низкой. Ковёр на полу, вытертый до основы. Лампа на крюке. Окно на дорогу в пески, без решётки. Четверо сидели вдоль стен. Бурхан — напротив двери, спиной к окну. Наджиб и Усама — по бокам. Ханиф — у двери, с луком в чехле на коленях.

Ножи у всех были на поясе. Без ножей, сказал я. Они не слышали. Я тоже не ждал, что услышат.

— Мир вам, — сказал я.

— И тебе мир, хромой, — сказал Бурхан. — Садись.

Я сел на ковёр, посередине, туда, куда он показал. Поставил перед собой блюдо, снял с него платок.

— Из сада Хакима, — сказал я. — Лучший сорт Азмара. В нашем городе к людям не приходят с пустыми руками.

Бурхан посмотрел на финики. Потом на меня.

— Ешь первым.

Я взял простой финик, с краю. Надкусил, вынул косточку, положил на край блюда. Съел. Взял второй. Третий. Косточки легли рядом, одна к одной. Бурхан смотрел, как я жую, как смотрят на монету, которую проверяют на зуб. Потом кивнул.

Косточки я клал с краю не зря. Финики с косточками лежали с моего края, финики без косточек — с их. Я ел те, что с косточками. Человек, который берёт с общего блюда, берёт то, что ближе. Это тоже обычай. Это тоже можно рассчитать.

— Зачем пришёл? — спросил Бурхан.

— Договориться. — Я отряхнул руки. — Эмир платит вам за мою голову. Я заплачу больше за то, чтобы вы уехали.

Наджиб засмеялся. Усама протянул руку к блюду, взял финик с их края, кинул в рот. За ним — Ханиф, не снимая лука с колен. Бурхан не торопился. Он слушал.

— Сколько даёт эмир? — спросил я.

— Сто, — сказал Бурхан. — Половину вперёд.

— Я даю двести. Сейчас — пятьдесят.

Я развязал пояс и выложил на ковёр золото. Пятьдесят динаров, столбиками по десять. Пустынные люди редко видят столько сразу. Наджиб перестал смеяться и смотрел на столбики. Усама взял второй финик. Бурхан протянул руку — не к золоту, к блюду. Взял финик с их края, самый крупный, повертел в пальцах и съел.

— Эмир заплатил вперёд, — сказал он, прожевав. — Эмир далеко, ты близко. Но эмир помнит долго, а ты, хромой... — Он взял ещё один. — Ты не доживёшь до того, чтобы помнить.

— Может быть, — сказал я.

Я встал. Медленно, как встаёт хромой. Собрал золото в пояс — то, что они не тронули, тронуть не успели.

— Подумайте до утра, — сказал я. — Золото придёт утром, если скажете да.

Бурхан махнул рукой: иди. Он уже решил, что возьмёт и моё золото, и голову эмирову. Жадный берёт всё, а потом удивляется, что подавился. Четверо проводили меня глазами. На блюде оставалось семь фиников. Пять они съели.

* * *

Дауд ждал у корыта. Я прошёл мимо, и он поднялся и пошёл следом, в трёх шагах, как Бишр.

За меня они взялись в ту же ночь — не стали ждать утра и моего золота. Жадность торопит.

Их свёл не нож. Серый порошок начинает с живота, потом доходит до сердца, и к этому часу выпитая вода уже не помогает. Наджиб вышел во двор к корыту — его рвало, он хотел пить. Там его и нашли утром, у воды. Усаму и Ханифа — в комнате. Бурхана — на лестнице: он полз вниз, к колодцу, и не дополз. Серебряное кольцо так и осталось на большом пальце.

Город сказал: рыба. Четверо из песков наелись даром жареной рыбы у лотка на причале, в самую жару, а пустынные не умеют есть морское. К полудню об этом говорил весь сук. Рыбника выгнали с причала, и он ушёл, проклиная хаджарцев, которые губят доброе имя честной рыбы. Я дал ему три динара на новый лоток в другом конце. За молчание, которого он и так не нарушил бы: он не знал, что молчать.

Блюдо я вымыл сам, с золой, и семь оставшихся фиников с миндалём бросил в очаг. Они горели долго, шипя. Нож повар не хватился.

* * *

Хакиму я доложил утром.

— Четверо лазутчиков эмира, — сказал я. — Жили в караван-сараях у пустынных ворот. Спрашивали про твой дом и про твои караваны. Я узнал, что это они навели всадников на Юсуфа: один из них три недели назад ушёл в пески и вернулся. Теперь их нет. Город говорит — рыба.

Хаким посмотрел на меня поверх чашки.

— Рыба, — сказал он.

— Рыба.

— Ты спас мой дом от лазутчиков. — Он отпил. — Так и скажут.

— Так и есть.

— Так и есть, — согласился Хаким, и в голосе его было то, что бывает у человека, который видит дно чашки, но пьёт дальше. — Юсуфа это не вернёт. Но следующий караван, может быть, дойдёт. Хорошо.

Он не спросил, как именно их не стало. Он не спрашивал про матроса на корабле Девидаса, не спросил и про это. Хаким не собирал того, что ему не нужно было знать. Он собирал только то, за что потом можно спросить.

Я заплатил за всё из своего. Два дирхама за порошок. Дирхам рыбнику, потом три динара ему же на новый лоток. Динар водоносу. Это были расходы, которых не было ни в одной книге дома. Я вёл им свой счёт, в уме, русскими цифрами, как вёл когда-то вторую книгу под циновкой в Джульфаре. Четыре человека эмира обошлись мне в три динара и четыре дирхама. Дешевле, чем костюм из сурского льна. В прошлой жизни я сказал бы: низкая себестоимость. Здесь я не говорил ничего. Я просто вычеркнул строку расхода и не вписал строку прихода. Приход был в том, что я остался жив. Его в динарах не считают.

* * *

Четвёртый был ещё жив, когда Дауд нашёл его.

Не в караван-сараях. У колодца медников, в двух поворотах от моего дома, на рассвете. Пятый. Насир сказал — четверо, и хозяин караван-сарая сказал — четверо. Их было пятеро. Один жил отдельно, в городе, и не ходил к колодцу по вечерам со всеми. Он сидел и смотрел. Я его не считал.

Он лежал у колодца медников, скорчившись, и держался за живот. Он тоже ел рыбу — им принесли на всех. Серый порошок тут был ни при чём: рыба в тот день была честно несвежей, и этого хватило. Дауд наклонился над ним.

— Чей? — спросил Дауд.

— Эмира, — прохрипел тот. Лицо у него было серым, губы в пене. — Из Хаджара. Нас было пятеро.

— Кто пятый?

Он посмотрел на меня — я стоял за Даудом. Узнал. Хромой, светлые глаза. Губы его дёрнулись в чём-то вроде улыбки.

— Эмир умный, — сказал он. — Эмир не кладёт всё в один кошель. Эмир заплатил и тому, кто стоит у тебя за спиной.

— Кому?

Он не ответил. Он смотрел мимо меня, на светлеющее небо, и дышал всё реже. Потом перестал.

Я обернулся.

За спиной у меня стоял Дауд. Больше никого не было. Переулок медников был пуст, и только где-то за стеной уже начинали стучать по меди, тонко и часто, как всегда.

Человек, который стоит у меня за спиной. Их было много, тех, кто стоял у меня за спиной. Дауд. Бишр, когда не спал у Хакима. Человек в сером, который ходил за мной от дома к дому. Салих, который хранил мою страховку в сундуке. Юнус, который сдал мне дом в тот самый день.

Умиравшие в этом мире любили говорить загадками. Им казалось, что так они уносят с собой что-то важное. Хафиз в Сурате хрипел про договор. Этот — про человека за спиной.

Дауд закопал его за пустынными воротами, в песке, до света. Пятая строка. Город про пятого не узнал: пятого никто не считал, кроме меня.

А я весь день считал своих. Тех, кто стоял за спиной. И не мог вычеркнуть ни одного.

Глава 9. Пай

Корабль для дальнего плавания стоит в Азмаре тысячу динаров. Полторы, если новый.

У Хакима было сорок кораблей. У любого другого купца Азмара — один, два, редко три. У вдовы ткача, у кузнеца, у грузчика с пристани не было ни одного и не будет никогда. Между теми, у кого сорок, и теми, у кого ноль, лежала пропасть, и через эту пропасть никто не перекидывал моста. Я перекидывал мосты. Это была моя работа в обеих жизнях.

Я придумал это ещё в первую зиму у Джафара, но при Джафаре было не до того. Теперь было время.

Мысль была простой, как все мысли, которые приносят деньги. Корабль уходит в рейс с грузом на тысячу динаров. Приходит с грузом на полторы, если дойдёт. Пятьсот прибыли делят купец и капитан. А что, если тысячу собрать не из одного кармана, а из двухсот? Десять динаров вдовы, двадцать кузнеца, пять грузчика, сто мелкого торговца. Прибыль — по долям. Убыток, если корабль утонет, — тоже по долям. Вдова теряет десять, а не всё.

На юге это называлось мудараба: ты даёшь деньги, другой торгует, прибыль делите, убыток твой. Так ходили деньги через дом Джафара — сотнями динаров, от одного богатого к одному купцу. Я хотел собирать их десятками медяков от сотен бедных.

В прошлой жизни это называлось коротким словом, которого здесь не знал никто. Там на этом стояли целые дома, выше крепости эмира, и в них сидели люди, которые ни разу не видели в глаза тех, чьими деньгами торговали. Пай. Доля в деле, которую может купить всякий, у кого есть хоть что-то.

* * *

Рост запрещён верой. Это я выучил ещё в Хаджаре, где открытого ростовщика секли у ворот.

Но пай — это не рост. Ты не даёшь в долг под проценты. Ты вкладываешь в дело и делишь его судьбу. Прибыль — твоя доля удачи. Убыток — твоя доля беды. Это честно перед верой, если сделать правильно. А сделать правильно — значит получить слово законоведа.

Законоведа Азмара звали Абдулла ибн Сабит. Он преподавал в медресе при большой мечети, писал ответы на вопросы о дозволенном и запретном, и его слово стоило в городе дороже слова правителя: правитель брал налог с тела, а законовед — с совести.

Я пришёл к нему не с деньгами. К таким людям не ходят с деньгами: деньги их оскорбляют, а оскорблённый законовед пишет ответ не в твою пользу. Я пришёл с вопросом.

— Почтенный, — сказал я, сидя на циновке в его тесной комнате, заваленной книгами, — вдова ткача хочет вложить десять динаров в рейс купца. Купец берёт её десять вместе со своей тысячей, торгует, и если бог даст прибыль — отдаёт вдове её долю прибыли, а если корабль утонет — вдова теряет свои десять, как теряет их сам купец со своей тысячей. Дозволено ли это?

Ибн Сабит думал долго. Он был стар, сух, с внимательными глазами человека, который всю жизнь ищет в вопросах подвох и обычно находит.

— Это мудараба, — сказал он наконец. — Мудараба позволена. Так торговали во все времена.

— А если вкладчиков не один, а двести? И каждый вложил мало?

— Число не меняет сути, — сказал Ибн Сабит. — Один вкладчик или двести — закон один. Важно, чтобы прибыль делилась по доле, а не по уговору о росте. Важно, чтобы убыток ложился на вкладчика, а не только на купца. Важно, чтобы доля была известна заранее и записана. И чтобы купец не обещал вернуть вложенное во что бы то ни стало: кто обещает вернуть вложенное при любом исходе, тот берёт в долг, а долг под прибыль есть риба.

— А записать это в книге, при свидетелях, с печатью?

— Записать — хорошо, — сказал Ибн Сабит. — Записанное не спорит.

Я попросил его написать это. Ответ на вопрос, как пишут законоведы: вопрос, потом ответ, потом основания из книг. Он написал. Я заплатил медресе двадцать динаров — не ему, медресе, на книги для учеников. Это не оскорбляет. Это благочестие.

Фетву я велел переписать в трёх списках и один повесил на доску у моста, рядом с ценами дня. Теперь всякий, кто умел читать, и всякий, кому читали, знал: пай дозволен. Слово законоведа висело на стене, и спорить с ним было то же, что спорить с верой.

* * *

Хакиму я сказал о паях прямо. Скрывать было нельзя: корабли были его, рейсы его, деньги города садились бы на его палубу. Да и скрытый пай — это уже не пай, а то, за что секут у ворот.

— Город вложит в твои рейсы, — сказал я. — Понемногу, от многих. Дом даёт две трети груза, город — треть. Прибыль по доле, убыток по доле. Фетва у меня есть.

Хаким слушал, покручивая перстень.

— Зачем мне деньги вдов? — спросил он. — У меня есть свои.

— Затем, что вдова, вложившая десять динаров в твой корабль, будет молиться за твой корабль, — сказал я. — И говорить о нём хорошо. И её сын не наймётся к тому, кто завидует тебе. Город, у которого доля в твоём доме, — город на твоей стороне. Это дешевле стражи.

— И прибыль дома растёт, потому что мы торгуем на большее, чем вложили.

— И прибыль растёт.

Хаким подумал.

— Делай, — сказал он. — Но книгу вкладчиков держи при мне. Я хочу знать, кто вложил в мой дом.

— Книга будет у моста, — сказал я. — Открытая. Всякий может прийти и прочитать свою строку. Тайная книга пугает бедного. Бедный несёт деньги туда, где его строку видно.

Это была правда, и это было удобно мне. Открытая книга, которую всякий может прочитать, — это книга, в которой никто не читает чужих строк. Тысячу строк не держит в голове никто, даже Хаким. Он мог прийти и посмотреть. Он не пришёл ни разу: у него было сорок кораблей и не было времени читать, кто из водоносов вложил пять динаров.

* * *

Первый рейс я собрал за десять дней.

Корабль Хакима шёл в Сурат с ладаном и солью, за перцем и тканями. Груз — на тысячу двести. Восемьсот давал дом. Четыреста я предложил городу, паями по пять динаров. Восемьдесят паёв.

Я сел у моста, под новым полотном, и Маджид завёл новую книгу. Не книгу моста — отдельную. Книгу вкладчиков. Имя, сколько вложил, сколько паёв, печать или знак, если человек не умел писать, — тогда он макал большой палец в чернила и прикладывал к бумаге, и Маджид обводил отпечаток и подписывал имя рядом.

Первым пришёл старый караванщик, тот, что сидел со мной в тени в день прихода. Положил пять динаров.

— Северянин не врёт пустынному человеку, — сказал он. — Попробую.

За ним — вдова ткача, которую привела Наила. Десять динаров, два пая, завернутые в тряпицу, копленные на чёрный день, которого всё не было. Потом кузнец. Потом два водоноса в складчину — один пай на двоих. Потом писец налога, тот самый. Потом грузчики моста, люди Дауда, по одному паю. Потом лавочники с сука, которые сначала смеялись над доской с ценами, а теперь несли деньги.

За десять дней — восемьдесят паёв разобрали, и ещё сорок человек остались с деньгами в руках. Я записал их в очередь на следующий рейс.

Это было похоже на тот первый вечер в Хаджаре, когда я заплатил Хамдану дирхам за молчание, чтобы он разнёс мою тайну по всему городу. Тайна, за которую заплатили, дороже бесплатной. Пай, в очередь за которым пришлось встать, дороже того, который валяется на прилавке. Люди хотят то, чего не хватает другим. Это не меняется ни в одном из миров.

* * *

Корабль вернулся через сорок один день.

Я знал это заранее — с моста видно, какой вымпел входит в гавань, — и велел Маджиду вынести книгу вкладчиков на причал. Весь город и так знал: корабль, в котором лежат деньги вдов и грузчиков, ждут лучше, чем корабль купца. У кого есть доля, тот смотрит на море.

Груз продали за тысячу восемьсот. Я считал при капитане, при Маджиде, при писце налога. Тысяча двести — то, что вложили. Шестьсот — прибыль. Расходы рейса — сто сорок: жалованье команде, пошлина, доля шейха залива, где корабль брал воду. Чистой прибыли — четыреста шестьдесят. Доля города — треть, по доле вклада. Сто пятьдесят три на четыреста городских динаров. Чуть больше трети сверху за сорок один день.

Платил я на причале, при всех. Это было важнее самой платы.

Вдова ткача вложила десять, получила назад десять и ещё три динара восемь дирхамов. Она держала монеты в горсти и не верила. Три динара — это был месяц работы её покойного мужа за ткацким станом. Она получила их за то, что отдала свои десять и ждала сорок один день.

Караванщик получил на свои пять — один динар девять дирхамов. Кузнец — на двадцать — семь с лишним. Водоносы, двое, разделили свою долю пополам тут же, на причале, споря о медяках. Грузчики Дауда получали каждый свою и шли назад в очередь на следующий рейс, не спрятав денег в пояс: несли обратно, в новый пай.

Я платил по одному, вслух, по книге. Каждому — ровно его долю, до медяка. Там, где доля не делилась на медяки без остатка, я округлял вверх, из своего. Это стоило мне за день динаров пять. Это были лучшие пять динаров, какие я тратил в Азмаре. Человек, которому отдали на медяк больше, чем он считал, рассказывает об этом год.

К вечеру на причале стояли те сорок, что не попали в первый рейс, и ещё сотня новых. Они видели, как платят. Они пришли с деньгами.

В прошлой жизни самая дорогая реклама — довольный покупатель, который говорит сам. За неё не берут денег, ей нельзя приказать, её нельзя купить. Её можно только заслужить, заплатив ровно и в срок. Я платил ровно и в срок. Остальное город делал за меня, бесплатно, на каждом углу, у каждого колодца.

* * *

Хаким был доволен.

— Четыреста динаров города в моём рейсе, — сказал он, когда я доложил. — Я вложил восемьсот, а торгую на тысячу двести. Город рискует вместе со мной. Если корабль утонет — город потеряет свои четыреста, а не я. — Он отпил чаю. — Ты заставил бедных страховать мои корабли и платить за это удовольствие. Это умно, Мансур.

— Это выгодно и бедным. Вдова не купит корабль. А пай — купит.

— Вдове выгодно, тебе выгодно, мне выгодно, — сказал Хаким. — Когда всем выгодно, кто-то не доглядел. — Он посмотрел на меня. — Пока я не вижу, кто. Это мне и не нравится. Он видел дальше, чем я думал. Но не так далеко, как надо.

Хаким считал пай страховкой своих кораблей. Он был прав наполовину. Четыреста динаров города в его рейсе были не только страховкой. Это была книга.

Книга вкладчиков лежала у меня. Двести имён после первого рейса, четыреста после второго, к концу сезона — больше тысячи. Вдовы, грузчики, водоносы, лавочники, караванщики, кузнецы. Каждый вложил мало. Каждый получил свою долю прибыли честно, до последнего

медяка, в срок, из рук в руки. Каждый рассказал соседу. Каждый теперь знал, что человек по имени Мансур платит ровно, в срок и не обманывает бедного.

В прошлой жизни я продавал рекламу. Реклама — это когда ты платишь, чтобы тебе поверили. Я нашёл способ, при котором мне платили за то, чтобы поверить. Тысяча человек, которые доверяют тебе свои десять динаров и получают двенадцать, — это не вкладчики. Это армия. Только армия эта не знала, что она армия, и я ей об этом не говорил.

Хаким собирал людей деньгами сверху: капитанов, менял, писцов. Я собирал их снизу: вдов, грузчиков, водоносов. Его сеть держала море. Моя держала город. Пока наши сети не пересекались, мы оба были довольны.

* * *

Наила пришла за паем сама, в конце второго рейса.

Она не прислала служанку и не передала через вдову ткача. Пришла к мосту, в тёмном, с прямой спиной, села на циновку напротив Маджида — женщин у моста не сажали, но Наилу посадили, потому что Наилу слушали, — и положила на стол кошель.

— Сколько в рейсе? — спросила она.

— Тысяча двести, — сказал Маджид. — Город берёт четыреста. Пай — пять.

— Весь город? — Наила посмотрела на меня. — Или ещё осталось?

— Осталось сто восемьдесят, — сказал я.

— Беру всё.

Маджид поднял голову. Сто восемьдесят динаров — это тридцать шесть паёв. Это больше, чем вкладывали все вдовы и грузчики вместе. Это была не доля бедной вдовы. Это была доля купца.

— Ты не бедная вдова, госпожа, — сказал я.

— Нет, — сказала Наила. — Я богатая вдова. Богатые вдовы прячут своё лучше бедных: бедную не ограбят, а богатую ограбит первый, кто узнает. Твой пай — хорошее место, чтобы спрятать. Он записан не на дом, не на лавку, не на меня. Он записан в книгу вкладчиков, одну строку из тысячи. Кто станет искать богатство женщины в книге, где рядом водоносы по пять динаров?

Она была умна. Умнее всех, кого я встречал в Азмаре, кроме Хакима. Она поняла то, чего не понял Хаким: книга вкладчиков — это не страховка кораблей. Это место, где можно спрятать деньги в толпе.

И она поняла ещё одно, чего не сказала вслух. Тридцать шесть паёв в одной руке — это уже не доля. Это рычаг. Вдова ткача с двумя паями будет молчать и радоваться трём динарам. Наила с тридцатью шестью будет считать вместе со мной и спрашивать, куда идёт корабль, кто капитан, что в трюме. Я пускал в своё дело человека, который сам вёл дела тридцать лет и никому не отдал своей воли.

Я подумал об этом полсекунды. Потом решил, что человек, который прячет своё в моей книге, привязан ко мне крепче, чем человек, которому я плачу жалованье. Жалованье платят и соперники. А спрятанное у меня она не вынет, не открыв всем, где оно лежало.

— Запиши, — сказал я Маджиду.

Наила отсчитала сто восемьдесят, золотом, не глядя. Маджид записал: тридцать шесть паёв, и обвёл её имя. Она не стала прикладывать палец. Она подписала сама, твёрдой рукой.

— Приходи ко мне, — сказала она, вставая. — Не за тканями.

— Зачем?

— Затем, что я знаю про дом Хакима то, чего не знает даже Хаким, — сказала Наила. — Жёны знают о мужьях больше мужей. А я знаю всех жён.

Она поправила покрывало и ушла через расступившийся причал, прямая, тёмная, одна. Маджид смотрел ей вслед.

— Тридцать шесть паёв, — сказал он тихо. — Женщина.

— Деньги не знают, мужчина их принёс или женщина, — сказал я. — Пиши.

Вечером я считал книгу вкладчиков при лампе. Двести одиннадцать имён. Четыреста динаров города в первом рейсе, пятьсот восемьдесят во втором. К концу сезона кораблей будет пять рейсов, может, шесть. Две, три тысячи городских денег на палубах Хакима. Прибыль дома растёт, и моя пятая часть прироста растёт вместе с ней. Хаким доволен, город доволен, Наила спрятала своё.

А в книге, под тысячей строк о водоносах и вдовах, росло то, чего не видел никто. Не деньги. Имена. Тысяча человек, которые однажды, если я попрошу, сделают то, о чём я попрошу, — потому что я платил им ровно и в срок, когда никто другой в Азмаре не считал их за людей.

Я закрыл книгу и задул лампу. Деньги — это договор между людьми, сказал мне Хаким в Сурате. Он держал договор сверху, с капитанами и менялами. Я начал писать свой — снизу. С теми, кого он не считал.

Глава 10. Наила

К Наиле я пошёл через неделю, вечером, после того как закрыл мост.

Бишр проводил меня до её переулка и остался снаружи, у стены. В дом вдовы он не входил: мужчине не входят в дом вдовы, если он не по торговому делу и не при свидетелях. Я был по торговому делу. Свидетелем была её служанка, девочка лет пятнадцати, которая сидела в углу и пряла, не поднимая глаз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.